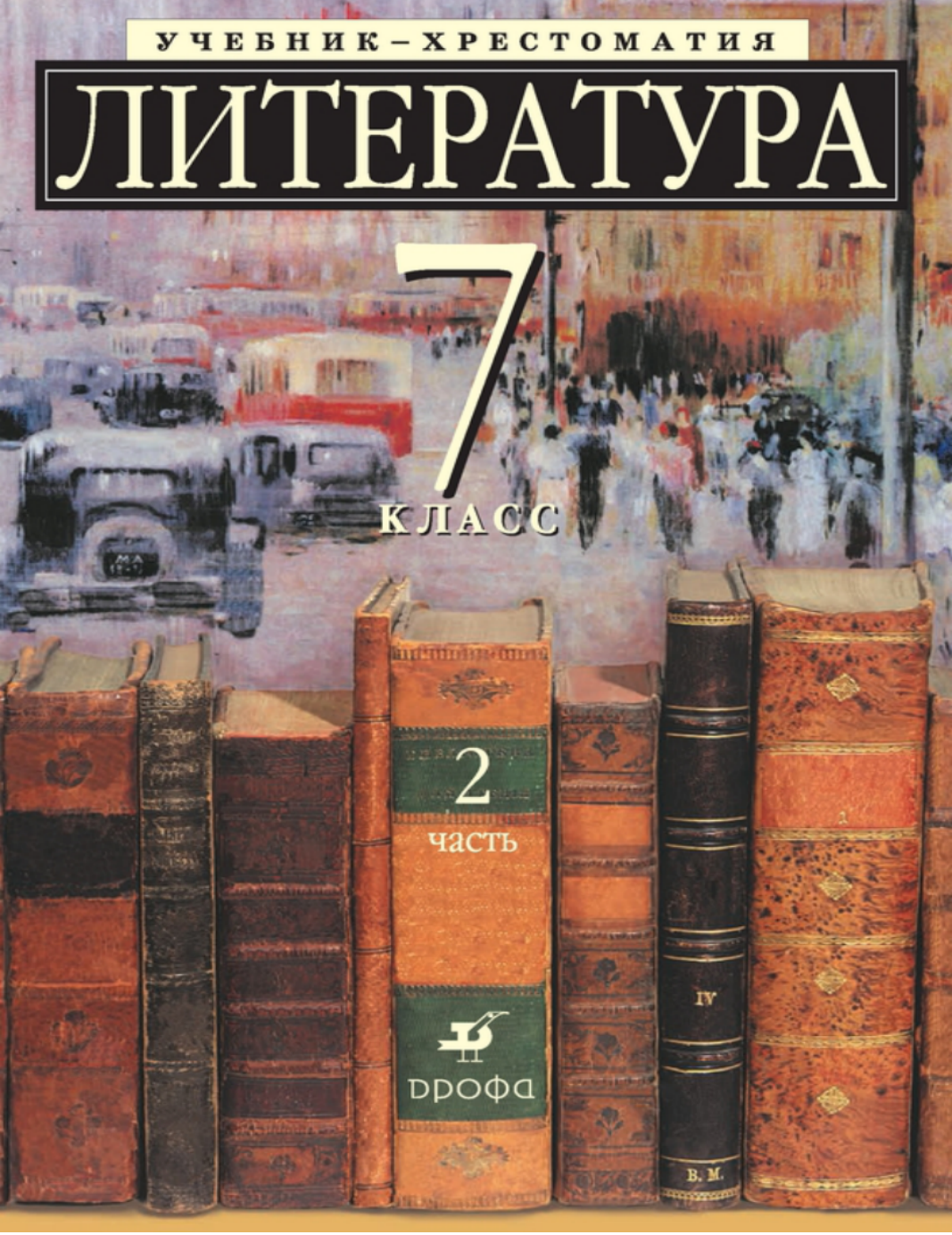
УЧЕБНИК – ХРЕСТОМАТИЯ

ЛИТЕРАТУРА

7 КЛАСС

2 часть



ДРОФА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Учебник входит в комплект книг для 5—9 классов, обеспечивающий преподавание по авторской программе литературного образования. В него также входят книги для чтения «Книжная полка».

В основу концепции литературного образования положено изучение литературы как вида искусства, постижение литературного произведения в единстве содержания и формы, выявление национального своеобразия русской литературы.

Учебник-хрестоматия предназначен для образовательных учреждений с углубленным изучением литературы.

- Литература. 7 класс
  - Третий урок мастерства
    - Николай Васильевич Гоголь
      -
      - Портрет
    - Иван Сергеевич Тургенев
      - Бежин луг
    - Читательская лаборатория
    - Николай Семенович Лесков
      -
      - Левша
        - Глава первая
        - Глава вторая
        - Глава третья
        - Глава четвертая
        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - Глава седьмая
        - Глава восьмая
        - Глава девятая
        - Глава десятая
        - Глава одиннадцатая
        - Глава двенадцатая
        - Глава тринадцатая
        - Глава четырнадцатая
        - Глава пятнадцатая
        - Глава шестнадцатая
        - Глава семнадцатая
        - Глава восемнадцатая
        - Глава девятнадцатая

- Глава двадцатая
- Читательская лаборатория
- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
  -
  - Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
- Сергей Тимофеевич Аксаков
  -
  - Очерк зимнего дня
- Николай Алексеевич Некрасов
  -
- Лев Николаевич Толстой
  -
  - После бала
- Федор Михайлович Достоевский
  -
  - Мальчик у Христа на елке
    - I
    - II
- Антон Павлович Чехов
  -
  - Хамелеон[166]
- Читательская лаборатория
- В мастерской художника слова
-
- Сокровища книжных полок
- Мир и человек в русской литературе XX века
- Михаил Афанасьевич Булгаков
  -
  - Красная корона
- Читательская лаборатория
- Дмитрий Борисович Кедрин
  -
  - Пирамида
- Андрей Платонович Платонов
  -
  - Иван Великий
- Николай Алексеевич Заболоцкий
- Евгений Иванович Носов
  -
  - Малая родина
- Валентин Григорьевич Распутин
- Уроки французского
- Федор Александрович Абрамов

- Золотые руки
- Когда делаешь по совести
- Сокровища книжных полок
- Четвертый урок мастерства
- Понятие о лирическом герое литературного произведения
- Александр Сергеевич Пушкин
- Евгении Абрамович Баратынский
- Признание
- Николоз Бараташвили
- Алексей Степанович Хомяков
- В мастерской художника слова
- Сокровища книжных полок
- Словарь литературоведческих терминов

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26

- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70

- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114

- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158

- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194

Литература. 7 класс
Учебник-хрестоматия для школ с углубленным изучением литературы. Часть 2
(Под редакцией М. Б. Ладыгина)

Третий урок мастерства (Продолжение)

Николай Васильевич Гоголь

В творчестве каждого большого писателя есть одна тема, имеющая для него особое значение. Условно мы называем ее «тема поэта и поэзии». Каждый художник задумывается о судьбе своих творений, о смысле собственного творчества, о том, кому и как его произведения служат.

Николая Васильевича Гоголя вопрос о предназначении художника мучил особенно сильно. Всю жизнь этот писатель искал возможности послужить отечеству и не раз сомневался в том, верно ли он выбрал поприще. Две причины лежали в основе его сомнений: глубокая религиозность и осознание могучей силы воздействия искусства на человека.

Писатель считал, что искусство призвано служить человеку, обращая его сердце к Богу. Но искусство одновременно должно бороться со злом, с враждебными Богу силами, воплощенными в самые разные земные обличья. Н. В. Гоголь обладал удивительным чувством юмора и редким сатирическим даром. Сам он, зная эту черту своего таланта, писал, что использовал свой дар, чтобы человек вдоволь «насмеялся над чертом». Но все ли он сделал для победы Добра над Злом в душе человеческой – вот вопрос, который мучил Н. В. Гоголя.

«Портрет» – не просто одна из «петербургских повестей», в которой ставятся проблемы назначения поэта и поэзии, – это программное произведение, с наибольшей полнотой выражающее в художественной форме гоголевский взгляд на суть и задачи искусства.

Вглядитесь повнимательнее в произведение писателя. В основе повествования лежит очень необычная композиция. «Портрет» состоит из двух частей, каждая из которых представляет собой законченную новеллу, имеющую свой конфликт, самостоятельный сюжет и особую систему персонажей. Сюжеты каждой новеллы обладают своей спецификой: в первой используется хронологическая, прямая композиция, во второй автор прибегает к рамочному повествованию (таким образом вводится еще один конфликт, еще одна художественная проблема).

> *Задумайтесь над тем, какой эстетический эффект достигается писателем с помощью такого построения «Портрета».*

При всей внешней самостоятельности двух новелл,

составляющих единую повесть, они объединены не только общей темой творчества, но и единым композиционным центром: портретом ростовщика. *И здесь мне хотелось бы, чтобы вы поразмыслили об этой важнейшей части художественного мира произведения Н. В. Гоголя и ответили на вопрос: что это – деталь, символ, аллегорическая фигура или что-либо иное?*

Две части «Портрета» находятся в очень непростых соотношениях: они заключают в себе одновременно и прием антитезы (противопоставления), и прием художественного повтора, усиления. Образы художников из этих двух частей также строятся одновременно по принципу контраста и по принципу зеркальности, уподобления.

Антитеза проявляется в том, что первая часть повествует о падении Чарткова, о растрате им своего таланта, а вторая рассказывает о становлении художника, о создании великого произведения искусства, путь к которому пролегает через страдание, самоотречение и покаяние. Контрастно и изображение жизненного пути художников: один движется от нищеты к богатству и популярности, второй же отказывается от благополучия и обретает себя в нищете отвержения от мира. (*Проследите, пожалуйста, основные этапы жизни художников.*)

Но при столь явных различиях есть и удивительные совпадения в судьбах персонажей. Оба они в какой-то момент оказываются под воздействием таинственного ростовщика, чьи деньги отравляют их души. Оба они испытывают искушение материальным благополучием. Но самое поразительное заключается в том, что жизненный путь обоих художников завершается одинаковым стремлением к уничтожению живописных шедевров. Чартков, отравленный золотом и растративший свой талант, скупает прекрасные произведения искусства, чтобы уничтожить их.

Посмотрите, как блистательно Н. В. Гоголь показывает бессмысленность такой жизни: художник предает себя, свое призвание ради денег, богатства, но скопленное им богатство обращается в прах, растраченное на борьбу с произведениями тех, кому яростно завидует потерявший себя Чартков.

Но и вторая часть также завершается наказом уничтожить великое произведение искусства – портрет ростовщика. На этот парадоксальный вывод удивительного писателя вам следует обратить самое пристальное внимание, поскольку в нем с наибольшей полнотой проявился взгляд Н. В. Гоголя на искусство.

Как бы ни был плох сам по себе человек (в данном случае ростовщик), но художник совершил чудо: созданное им

произведение искусства настолько точно воплотило сущность ростовщика, что смогло принять в себя его душу. В этом, по мнению Н. В. Гоголя, заключается и великая сила искусства, и страшное преступление художника: злая душа, которая должна была покинуть землю вместе со смертью материального тела ростовщика, получает новую (почти вечную) материальную оболочку, в которую вселяется, чтобы продолжить свои черные дела среди людей.

Портрет не только продлевает земное существование души ростовщика, он как бы наследует и род занятий своего прототипа: ведь именно портрет снабжает Чарткова той первоначальной суммой «злых денег», с которых начинается его отступление от своего призвания.

> *А вот теперь подумайте: следует ли искусству всегда правдиво и точно изображать земную жизнь. Любой ли портрет и каждый ли человек может быть удостоен высокой чести обрести вечность с помощью кисти живописца? Какой ценой заслуживает себе прощение создатель портрета и в чем подлинная задача искусства, по мнению И. В. Гоголя?*

Портрет

Часть I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинного лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнообразное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанной рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, – вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого прокатилась красная

краска, захватившая часть земли и двух молящихся мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей – куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомненья, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит солдат в шинели, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых[1] шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать, а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем, что он с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец, овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны эти произведения. Что русский народ заглядывается на Еруслановых Лазаревичей, на объедал и обпивал, на Фому и Ерему[2], это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих грязных, пестрых масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают уже притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно встала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он перед этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что

ему понравилось и что нужно.

– Вот за этих мужичков и за ландшафтик[3] возьму беленькую[4]. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит! Вот она какая зима!

Тут купец дал легкого щелчка, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы.

– Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

– Постой, брат, не так скоро, – сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе.

Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

– А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, – и, наклонившись, начал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малевания, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом.

Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий разный сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку…

– Сюда, батюшка; вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены.

Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился во внутрь ее.

– Что, батюшка, выбрали что-нибудь?

Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скуластым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был

запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное себе самому чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

– А что ж, возьмите портрет! – сказал хозяин.

– А сколько? – сказал художник.

– Да что за него дорожиться? Три четвертачка давайте!

– Нет.

– Ну да что ж дадите?

– Двугривенный, – сказал художник, готовясь уйти.

– Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! Гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только что первый покупатель. – За сим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: зачем я его купил? на что он мне? Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Доро́гой он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились: досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту.

– Черт побери! гадко на свете! – сказал он с чувством русского, у которого дела плохи.

И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходов. Уже художник начинал мало-помалу заглядывать на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой

легкий тон!» и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг. Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе не заметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узенький диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он, наконец, спросил свечу.

– Свечи нет, – сказал Никита.

– Как нет?

– Да ведь и вчера еще не было, – сказал Никита.

Художник вспомнил, что и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

– Да вот еще, хозяин был, – сказал Никита.

– Ну, приходил за деньгами? знаю, – сказал художник, махнув рукой.

– Да он не один приходил, – сказал Никита.

– С кем же?

– Не знаю с кем… какой-то квартальный[5].

– А квартальный зачем?

– Не знаю зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

– Что ж из того выйдет?

– Я не знаю, что выйдет; но говорил, коли хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

– Пусть их приходят, – сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненавистное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, – говорил ему не раз его профессор, – у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь полюбится – ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза, – смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя на шее иной раз щегольской платок, шляпа с лоском… Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство – пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля[6], но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида[7], останавливался перед портретами Тициана[8], восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастеры так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал вмиг денежный капитал. Это

приходило ему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда, наконец, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

– Да! Терпи, терпи! – произнес он с досадою. – Есть же, наконец, и терпенью конец. Терпи! А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои рисунки: за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? Этюды, попытки – и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени; да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как бы мог блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел; на него глядело, высунувшись из-за́ поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах было написано грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпение; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел по нем ею несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: глядит, глядит человеческими глазами! Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете Леонардо да Винчи[9], над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по

словам Вазари[10], был однако же почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь однако же в сем, ныне бывшем перед ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство.

– Что это? – невольно вопрошал себя художник. – Ведь это однако же натура, это живая натура: отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься ножом, рассекаешь его внутренности и видишь отвратительного человека. Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе. Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца.

Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та самая живопись, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был

никогда труслив; но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко, не подымая глаз, поднялся со своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор! Но, наконец, уже в самом деле… он видит, видит ясно: простыни уже нет… портрет глядит весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо на него, глядит просто к нему во внутрь… У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам… Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение – не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханием смотрел он на этот страшный фантом[11] высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе, и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу и на каждом было выставлено: 1000 червонных. Высунув свои длинные, костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни

велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других у самой ножки его кровати в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик, казалось, был очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам – видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот – он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться, грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье.

– Неужели это был сон? – сказал он, взявши обеими руками себя за голову; но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту перед сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищеные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда – уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон; черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать… с воплем отчаянья отскочил он и проснулся.

– Неужели и это был сон?

С бьющимся наразрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели в таком положеньи, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею – так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение

сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под ней барахтались руки и силились ее сбросить.

– Господи, Боже мой, что это! – вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся.

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки, или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло: неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображеньи так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон или простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну минуту

пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.

– Боже мой, если бы хотя часть этих денег! – сказал он, тяжело вздохнувши, и в воображеньи его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: 1000 червонных. Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состояньи оторваться от такого предмета – как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны[12], – творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправляя сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами, выходил на улицу с ключом в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому, после всей забубённой жизни и тряски на перекладных, остаются одни пошлые привычки.

– Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, – сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, – вот не платит за квартиру, не платит.

– Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

– Мне, батюшка, ждать нельзя, – сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке; – у меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека – вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья,

чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

– Да, уж если порядились, так извольте платить, – сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхиванием головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

– Да чем платить? вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

– В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии, – сказал квартальный. – Он, может быть, согласится взять картинами.

– Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вот нарисовал ее со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, изволите сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна… Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи Бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

– Хе, – сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, – предмет, того… игривый. А у этого зачем под носом так черно, табаком что ли он себе засыпал?

– Тень, – отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

– Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место, – сказал квартальный. – А это чей портрет? – продолжал он, подходя к портрету старика. – Уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит. Эх, какой Громобой[13]! С кого вы писали?

– А это с одного… – сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал видно слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились во внутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге.

Чарткову бросилась в глаза надпись: 1000 червонных. Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

– Никак деньги зазвенели, – сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

– А вам какое дело знать, что у меня есть?

– А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить – вот что…

– Ну, я заплачу ему сегодня.

– Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

– Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

– Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, – сказал квартальный, обращаясь к хозяину. – А если насчет того, что вы не будете удовлетворены, как следует, сегодня ввечеру, уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумьи.

– Слава Богу, черт их унес! – сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь. Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на их будущее промотавшееся положение. Он мыслил так: не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета? Полный романтического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою, не связано ли существование портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть

ли уже какое-то предопределение. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы бы до скончания века остались бы в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз: они уже не казались ему страшными; но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство.

– Нет, – сказал он сам себе, – чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки.

Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую перед ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья.

– Что с ними сделать? – думал он, уставив на них глаза. – Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет: куплю себе отличный манекен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником.

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в… и прочее, и он, схвативши деньги, был уже на улице. Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстухов, более нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза в карете по городу без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно у зеркала свои локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое доселе

было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего профессора и шмыгнул лихо мимо него, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и все, что ни было: станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже, забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желание непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков! Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!»

Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате – уносился невесть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тотчас же «почтеннейшим», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: *О необыкновенных талантах Чарткова:* «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе, что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж – всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков[14] и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться, верности ли и сходству с оригиналами, или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам,

художник: вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно – это было для него новостью; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза: «Виват, Андрей Петрович!» – также очень понравилась; печатным образом его называют по имени и по отчеству – честь ему доныне неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять, вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая 18-летняя девочка, ее дочь.

– Вы мсье Чартков? – сказала дама. Художник поклонился.

– Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. – Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. – А где же ваши картины?

– Вынесли, – сказал художник, несколько смешавшись, – я только переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге… не доехали.

– Вы были в Италии? – сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навести его.

– Нет, я не был, но хотел быть… впрочем, покамест я отложил… Вот кресла-с; вы устали…

– Благодарю, я сидела долго в карете. А вон, наконец, вижу вашу работу! – сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу этюды, программы, перспективы и портреты.

– C'est charmant, Lise, Lise, venez ici[15]: комната во вкусе Теньера[16], видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, видишь, как пыль нарисована! c'est charmant. А вот на другом холсте женщина, моющая лицо – quelle jolie figure![17] Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! Смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

– О, это вздор… Так, шалил… этюды…

– Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той… как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и обегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль… Ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

– Кто этот Ноль? – спросил художник.

– Мсьё Ноль. Ах, какой талант! Он написал с нее портрет, когда ей было только 12 лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

– Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

– Знаете ли, – сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, – я бы хотела: на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли: я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали, или роща… чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств… простоты, простоты чтобы было больше. (Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми).

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил это все в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали, и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею,

он принялся уже писать, работа его завлекала. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух всякие разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти, заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

– Довольно, на первый раз довольно, – сказала дама.

– Еще немножко, – говорил позабывшийся художник.

– Нет, пора! Lise, три часа! – сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула. – Ах как поздно!

– Минуточку только, – говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это однако ж досадно, – подумал про себя Чартков, – рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте – пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, разбудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать, и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался по городу в карете без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа не шла ему вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе со своею

бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело восемнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, заметную голубизну под глазами и уже готовился схватить даже небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собой голос матери:

– Ах, зачем это? это не нужно, – говорила дама. – У вас тоже… вот, в некоторых местах… как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки.

Художник стал изъяснять, что эти пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; что ему только так кажется.

– Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской, – сказал простодушно художник.

Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски… С грустью он принялся изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его

кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную голову Психеи, которую давно когда-то эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

– Lise, Lise! Ах, как похоже! Superbe, superbe![18] Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо:

– Это Психея[19].

– В виде Психеи? C'est charmant! – сказала мать, улыбнувшись; причем улыбнулась также и дочь. – Неправда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idee délicieuse![20] Но какая работа! Это Корредж[21]. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать, – подумал художник. – Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», – и произнес вслух:

– Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

– Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не… она так теперь похожа. – Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более

блеску и выраженья глазам. А по справедливости ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

– Довольно, – сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уже чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментами, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее, разумеется, замечено было не без легкой зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это все был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, – стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать было решительно невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности, одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы то ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался, наконец, в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху

вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс[22]; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требования: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона[23], он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной[24] ли, Ундиной[25], Аспазией[26]ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на все и прибавлял уже от себя всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит, и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собой разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддерживать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было вовсе в нем узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль писал даже не все хорошо и за многими его произведениями удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел[27] хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит

нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут, натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

– Нет, я не понимаю, – говорил он, – напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, – говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям. – Этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я… я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure![28]»

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы не нарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и повороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, – все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только

пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки сказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет: стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он пригласительные: почтенный наш Андрей Петрович, заслуженный наш Андрей Петрович. Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, не потому, то убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятья молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразия. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно совершенно позволяют ей усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем, и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом в груди на место сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена,

приехать дать суждение свое о новом присланном из Италии произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всею душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там как отшельник погрузился он в труд и в неразвлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли на него или нет его братия. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял, наконец, себе настольного книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет того, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков уже нашел целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине; но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую невиданную кисть. Все тут,

казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плавучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою были объяты все, вперившие глаза на картину, – ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась, наконец, в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения, и когда, наконец, обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что, видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до главного…» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он среди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновенье, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! И погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося

теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы! фигура его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вы-несть прочь из своей мастерской все последние произведения, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

– Но точно ли был у меня талант? – сказал он наконец. – Не обманулся ли я? – И произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке, на уединенном Васильевском острове, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его.

– Да, – проговорил он отчаянно, – у меня был талант. Везде, на всем видны следы его и признаки…

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно-вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загромождён другими картинами

и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным способом, родил в нем все смутные побуждения, погубившие его талант, – почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту ж минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье от того не убавилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться, ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступила у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска[29].

В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силой бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждения. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот суровый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин[30]. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи,

говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастью мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен, колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самой быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четвертился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший обязанность его пользовать и уже наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

Часть II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусства, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами[31] и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже прежними собственными трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших как хищные птицы на неприбранное

тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязаны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты[32] – все было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль», – не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь

понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был реставрирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице, но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли внимание почти всех. Много уже из состязавшихся с ним отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

– Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду; все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

– Как ни странны вам покажутся слова мои, – продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, – но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяют, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на всех лицах, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

– Вам известна та часть города, которую называют Коломною. – Так он начал. – Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной

лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, – людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни сё ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров[33], отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра: иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут все пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеят из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина моста до толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный

эконом не нашел средств улучшить состояние. Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам, и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в их душах всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один… но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказывать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один – существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей. Но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так по крайней мере говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих – это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь

несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи – это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны. Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и, наконец, расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и, наконец, обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция[34]. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал, наконец, подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть, наконец, престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердца многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант[35] не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного

поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа: гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды – все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь. Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слияние нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандисон[36] во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог, наверно, изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая,

постоянная любовь, долгие томления, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собой толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движеньи неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и без сомнения заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя и в ужаснейших муках окончил жизнь. Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волосы и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют притягающее свойство, раскаляются сами собой и носят какие-то странные знаки… словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерно высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий

бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды, все, казалось, как будто говорило, что перед страстями, двигавшими в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: дьявол, совершенный дьявол! Но надобно поскорее познакомить вас с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории. Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный одною только жаждою усовершенствованья, шедший по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою, одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете, постигнул сам собой истинное значение слова: историческая живопись; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью, и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre[37], несмотря на все притязания художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько даже черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно, и резко.

«Что на них глядеть, – обыкновенно говорил он, – ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня – поблагодарит, не поймет – все-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит в живописи, зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях – зачем больше знать барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого, да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит

прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит».

Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержания семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку бедному художнику; веровал простой, благочестивою верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах само собою являлось то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец, постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то – на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ, ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола».

Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь и вслед за тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

«Ты художник?» – сказал он без всяких церемоний моему отцу. «Художник», – сказал отец в недоуменьи, ожидая, что будет дальше. «Хорошо. Нарисуй меня. Детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?»

Отец мой подумал: «Чего лучше? он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и в цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисть, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые старинными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, все это произвело на него странное впечатление. Окна как нарочно были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки.

«Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» – сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. – «Экая сила! – повторил он про себя. – Если я хотя вполовину изображу

его так, как он есть теперь, он убьет всех святых моих и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила: он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» – повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, не понятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего он занялся отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же, во что бы то ни стало, он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну… Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец, уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзились ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существованье в мире, что уже тронул он своей кистью живые черты его, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он через то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти, и палитру, и бросился опрометью вон из комнаты. Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того дня узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать: с некоторого времени труды одного из его учеников начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой

всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особое расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие о нем и толки сделались ему невыносимы. Наконец, к довершению досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало.

«Нет, не дам же молокососу восторжествовать! – говорил он. – Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь».

И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился, наконец, того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечанье, поразившее всех.

«В картине художника точно есть много таланта, – сказал он. – Но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство».

Все взглянули и не могли не убедиться в истинности его слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы проверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был к неописанной своей досаде услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь разрезать его на куски и сжечь. На этом движеньи застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

«Что ты делаешь, что собираешься жечь? – сказал он и подошел к портрету. – Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это

совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя». «А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне», – сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин. «Остановись, ради Бога! – сказал приятель, удержав его. – Отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаза».

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес: «Нет, это Бог наказал меня, картина моя поделом понесла посрамление. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней».

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался, сколько мог, загладить пред ним вину свою. Работы его потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала чаще показываться на лице его. Он больше молился, чаще бывая молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон, он сказал: «Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное… Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила…»

«Как?» – сказал отец мой. «А так, что с тех пор, как повесил я к себе в комнату, почувствовал тоску такую… точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие… я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовой тебя душит и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который

напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг как будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта».

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и, наконец, спросил: «И портрет теперь у твоего племянника?»

«Куда у племянника! не выдержал, – сказал весельчак. – Знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате, и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук».

Этот рассказ произвел сильное впечатленье на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти и проч. и проч. Три случившиеся затем несчастия, три внезапные смерти жены, дочери, малолетнего сына почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братию. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец, уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустыню, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, казалось, изыскивал все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры разве можно найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы.

Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд».

Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая невыразимая тишина, обнимающая всю картину, – все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братия поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая высшая сила водила твоей кистью и благословенье небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию – лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже 12 лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчез из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мной прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденья не было заметно на лице его: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительнее для меня было услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

«Я ждал тебя, сын мой, – сказал он, когда я подошел к его благословенью. – Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя

есть талант, талант есть драгоценнейший дар Бога – не погуби его. Исследуй, изучай всё, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилища его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты… – Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако. – Есть одно происшествие в моей жизни, – сказал он. – Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но расскажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку,

который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его и указывает на него пальцем и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна. – Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

«Исполни, сын мой, одну мою просьбу, – сказал он мне уже при самом расставании. – Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению – во что бы то ни стало истреби его…»

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь на аукционе…

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену с тем, чтобы еще раз на портрет взглянуть. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и глум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте Чарткова как художника и человека в момент приобретения портрета.

2. Что заставляет Чарткова купить портрет ростовщика?

3. С какого искушения начинается распад личности Чарткова?

4. Как Гоголь описывает утрату Чартковым своего

таланта и чем объясняет ее?

5. Что общего в судьбе создателя портрета с судьбой Чарткова и чем они различаются?

6. Что заставляет художника писать портрет ростовщика?

7. Почему художник не доводит работу над портретом до конца и какой смысл вкладывает в это Гоголь?

8. Как готовится художник к написанию «Рождества Иисуса»?

9. В чем заключается завет художника сыну?

10. Какую роль играет в «Портрете» фантастика?

11. Подготовьте сопоставительную характеристику трех художников в «Портрете».

12. Напишите сочинение на тему: «Смысл и задачи искусства в представлении Гоголя».

Иван Сергеевич Тургенев

Бежин луг
Из «Записок охотника»

Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель, живший в середине XIX века, был одним из самых образованных людей своего времени. Он сотрудничал в некрасовском журнале «Современник», который объединял наиболее демократические и радикальные круги русских литераторов. Именно со страниц этого журнала впервые пришли к читателю «Хорь и Калиныч», «Певцы» и некоторые другие новеллы, вошедшие потом в книгу И. С. Тургенева под названием «Записки охотника».

«Записки охотника» – это цикл произведений, объединенный образом повествователя-охотника, которого зовут Петр Петрович (обратите внимание на отличие его имени от имени самого Тургенева), и общей темой. Тема «Записок охотника» – это и основная тема всего творчества писателя: жизнь русской деревни, помещичьих усадеб, крестьянских общин. К этой теме писатель будет обращаться и в своих знаменитых романах («Рудин», «Отцы и дети» и др.).

Но есть и еще одна общая тема у всех произведений писателя. В них с удивительной силой проявилась любовь к родной природе, восхищение красотой и раздольем русских просторов. Не случайно в мировую литературу И. С. Тургенев вошел как непревзойденный мастер литературного пейзажа.

Вам предлагается прочитать один из рассказов «охотника», названный «Бежин луг». Здесь вы убедитесь, как мастерски изображал писатель картины русской природы, как замечательно подбирал яркие детали (например, горение горсти сухих листьев), как он умел создавать своими описаниями определенный эмоциональный настрой, пробудить чувство гордости за свою землю.

> *Приведите наиболее характерные примеры тургеневского пейзажа и отметьте, какие приемы использует автор для его создания.*

В центре повествования встреча охотника с группой крестьянских мальчишек, выехавших в ночное, и разговор с ними. Оказавшись случайным наблюдателем жизни крестьянских детей, с их особыми проблемами, радостями и тревогами, автор пытается установить, завязать разговор с ними, понять их душу.

Как вы думаете, что открывается повествователю, побывавшему с мальчиками в ночном? Дало ли ему что-нибудь прикосновение к миру крестьянских детей?

В небольшом произведении (заметьте, я специально не называю жанр его, думая, что вы сумеете определить его и сами) И. С. Тургенев изобразил несколько разных мальчишечьих характеров. *Как ему это удалось? Думая над ответом на этот вопрос, перечитайте диалоги мальчиков.* Их разговор весьма интересен и по-своему поучителен. Один из самых интересных вопросов, который я хотел бы задать вам, вопрос о характере самого повествователя. Это человек, умеющий слушать других и заслуживший такой чести, что был допущен в ребячью компанию и присутствовал при их беседе. Уже это указывает на наличие в характере повествователя каких-то симпатичных мальчишкам черт.

Пожалуйста, ответьте, как создает характеры детей И. С. Тургенев. Что общего и что отлично в способах изображения детей у И. С. Тургенева и Н. А. Некрасова («Крестьянские дети»)?

Светлое, искреннее воспоминание охотника о ночной встрече в поле – это одно из незабываемых впечатлений, остающихся с человеком на всю его жизнь, но мастерство И. С. Тургенева позволило ему сделать это впечатление достоянием многочисленных читателей.

Вопросы и задания

1. Определите тему «Бежина луга».

2. Объясните смысл названия произведения.

3. Охарактеризуйте образ повествователя.

4. Что привлекает повествователя в крестьянских детях?

5. Дайте характеристику образов мальчиков.

6. Объясните смысл концовки «Бежина луга».

7. Как создается лирическое настроение в этой новелле?

8. Какова роль пейзажа в произведении?

9. Опишите наиболее интересную встречу в вашей жизни.

Читательская лаборатория
Как научиться различать типическое и индивидуальное в литературном характере

Вы уже знаете, что литературный характер создается на основе сочетания в персонаже индивидуальных психологических черт с качествами, присущими многим людям. Благодаря такому сочетанию, в литературе рождается персонаж яркий, интересный, запоминающийся.

Как научиться видеть, а значит, различать общее и конкретное, типическое и индивидуальное в герое, чтобы открылось все богатство его натуры, сложность его характера, значимость этого образа в творчестве писателя. Откроем еще раз очерк И. С. Тургенева «Бежин луг». Его герои– пять мальчиков– запоминаются все вместе и каждый в отдельности. Как удается это И. С. Тургеневу? Ответить на этот вопрос нам помогут несколько правил.

Правило первое. Чтобы научиться различать типическое и индивидуальное, нужно ответить на два вопроса:

Что объединяет этих героев, чем они похожи, что в них общего?

Чем каждый из них отличается от других, чем они непохожи, в чем индивидуальность каждого?

Ответы на эти вопросы вы, как всегда, найдете в тексте художественного произведения. Начните с ответа на первый вопрос. Вы найдете его сразу, как только прочитаете о том, как рассказчик, заплутавший в ночи охотник, окажется у костра: «Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун».

Какую общую характеристику героям дает автор? Что вы о них узнаете?

А узнаете много. Вы узнаете об их происхождении – они крестьянские дети. О том, где они живут, – «в Чернском уезде Тульской губернии» (об этом говорит сам рассказчик в начале очерка, называя места своей охоты). Об их образе жизни – помогают взрослым, ходят в ночное, и это «большой праздник для крестьянских мальчиков». Названные характеристики являются общими для каждого из героев, они объединяют героев, то есть называют типическое в образе каждого героя.

Так мы формулируем второе правило.

Правило второе. Типическое в литературном характере создается на основе обобщения характеристик героя о происхождении, социальном положении, образе жизни.

Однако не всегда в литературном произведении художественная информация раскрывается легко и просто. Чаще наоборот – ее приходится добывать, извлекать, внимательно прочитывая произведение. Давайте еще раз послушаем рассказы наших героев у костра, их диалоги и подумаем, как проявляется типическое в их характерах.

> *Назовите героев детских историй.*
>
> *Понаблюдайте за тем, как ребята рассказывают страшные истории и как они слушают друг друга.*
>
> *Объясните их огромный интерес к этим рассказам. Какие общие интересы проступают за голосом каждого из героев?*

Рассказы о домовых и русалках, водяных и леших, покойниках и утопленниках отражают не только извечный интерес детей к «страшилкам» и «ужастикам» (как сказали бы мы сегодня). В этих рассказах отразился их интерес к тайнам жизни природы, человека, то есть к тайнам мироустройства.

> *Какие общие взгляды объединяют представления крестьянских детей о мире и человеке?*

Окружающий мальчиков мир в их сознании поделен на «место чистое, вольное» и «нечистое место», «глухое»; лесную нечисть и «хрестиянскую душу». Миры реальный и нереальный сосуществуют в их восприятии на равных. Переплетение фантастического и настоящего крайне причудливо: это соединение языческих и христианских представлений.

> *Вспомните, кто рассказал Косте историю, происшедшую с Гаврилой, слободским плотником. Случайно ли упоминает об этом автор?*

Дважды укажет И. С. Тургенев на то, что «намеднись тятя… рассказывал».

Страшные истории о чистой и нечистой силе в крестьянской среде рассказывали всегда, пытаясь объяснить неведомое, непонятное, необъяснимое. Каждый из ребят искренне верит в народные поверья и легенды, в которых нашло свое выражение мифологическое, поэтическое сознание народа: «Вдруг откуда ни

возьмись белый голубок, – налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

– Знать, от дому отбился, – заметил Павел. – Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

– А что, Павлуша, – промолвил Костя, – не праведная ли душа летела на небо, ась?»

Взгляд крестьянских мальчиков на мир отражает особенности народного сознания, народного мировосприятия. Общность взглядов и представлений героев – типическое в образе каждого из них, так как устанавливает связь мальчиков не только друг с другом, но и с традициями, обычаями, верованиями, то есть культурой народа.

Запомните новое правило, вытекающее из наших рассуждений.

Правило третье. Типическое в литературном характере создается на основе обобщений представлений персонажа о мире и человеке (о мировоззрении, мировосприятии героя).

Вспомните второй вопрос из первого правила, на который нужно ответить, чтобы научиться видеть не только типическое, но и индивидуальное в литературном характере: *чем каждый персонаж отличается от других, чем они непохожи, в чем индивидуальность каждого?*

> *Как проявляет себя каждый из героев в монологах и диалогах у костра? Кто из героев самый активный рассказчик?*

«…Лучше других знал все сельские поверья…» Ильюша. Он ведет свое повествование обстоятельно, подробно описывая то, что слышал. Он старается не упустить в рассказе ни одной детали, делает отступления по ходу повествования, привнося свои оценки. Характер речи героя не только свидетельствует о его искренней вере в эти истории, желании убедить других в их правдивости, но и об обстоятельности, рассудительности и серьезности в его характере.

А вот Костя в своих рассказах совсем другой: он – поэт. Его речь отличает образный, поэтический язык; в построении предложений он использует повторы, риторические обращения, красочные эпитеты, сравнения: «Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, – а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный…» Нежно и с любовью описывает он этот воображаемый мир, как, впрочем, и мир реальный: «А месяц-

то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц– все, братцы мои, видно». Но уж очень пуглив, в авторской оценке «трусишка».

Павлуша – самый привлекательный для рассказчика герой. Узнавая его поближе, проникаются к нему симпатией и читатели. Он самый активный из собравшихся у костра: наблюдает «за картошками», с криком бросается за встревоженными собаками, идет ночью к реке за водой. Смелый, ловкий, спокойный по характеру мальчик.

А как вы думаете, кто из мальчиков самый внимательный слушатель?

Активно участвует в диалоге Федя. Сам он историй не рассказывает: он ведь самый старший, поэтому ведет себя с достоинством, покровительственно по отношению к другим. Но при этом именно он предлагает рассказать очередную историю, а потом чаще других задает вопросы, показывая тем самым не меньший, чем у других, интерес.

Маленький Ваня тоже историй не рассказывает, но захвачен ими не меньше других. В какой-то момент, видимо, находясь под впечатлением услышанного, он скажет: «Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки… гляньте на божьи звездочки, – что пчелки роятся!»

Сформулируем новое правило.

Правило четвертое. Индивидуальное в литературном герое проявляется в особенностях его личных психологических черт, которые раскрываются в поступках, в отношении к окружающему миру, в речи.

Вы уже знаете, что один из приемов раскрытия индивидуальных психологических черт характера – портрет литературного персонажа.

Найдите портретные характеристики крестьянских ребятишек (рассказчик описывает внешность каждого из них), и вы увидите отличие мальчиков друг от друга. Охарактеризуйте, как проявляется в портрете их индивидуальность. Чем запомнился вам каждый из героев?

Федя самый старший, в его описании подчеркнута внешняя привлекательность, одежда выдает принадлежность к зажиточной крестьянской семье.

Описание внешности Павлуши дано по-другому: на противопоставлении неказистой внешности и сильного характера («…глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила»). Он из бедной семьи. Описание внешности героя

сопровождается эмоционально-оценочной характеристикой рассказчика: «…а все-таки он мне понравился».

Ильюша запоминается болезненным типом внешности. Он – из семьи среднего достатка.

Костя «возбуждал любопытство» рассказчика мечтательностью натуры при тщедушной внешности. Привлекали внимание «большие черные» глаза: «…они, казалось, хотели что-то высказать…» Костя – из довольно бедной семьи.

Портретная характеристика самого младшего – Вани – немногословна: семилетний мальчике русой кудрявой головой.

Таким образом, портрет становится способом индивидуализации героев произведения.

Теперь мы можем вывести заключительное правило в нашей работе.

Правило пятое. Индивидуальные черты литературного характера проявляются в портретной характеристике героя.

Николай Семенович Лесков

Прозвище главного героя произведения Н. С. Лескова давно уже стало нарицательным. «Левшой» называют народного умельца. О тульском кузнеце, подковавшем английскую механическую блоху, снят мультфильм, ему посвящена опера… Немногие произведения мировой литературы удостаиваются столь высокой чести! Действительно, Лескову удалось создать удивительное произведение.

Основное его достоинство заключается в прекрасно выписанных характерах Александра I, атамана Платова, и конечно же, Левши. Писатель сам восхищается достоинством русского человека и показывает эти достоинства читателям. В то же время он с горечью пишет о преклонении перед иноземцами и о тяжелой судьбе россиян.

Проследите за взаимоотношениями царя и атамана Платова, на протяжении всего произведения ведущих скрытый спор о характере русского человека.

В чем смысл этого спора и каков его результат?

Все лучшее и все самое трагичное, что свойственно простому русскому человеку, нашло воплощение в характере Левши. Посмотрите, как автор описывает своего героя.

> *Как характер Левши воплощается в речи персонажа, в его портрете, в его поступках? Как вы думаете, почему талант народного мастера не находит признания и надлежащего применения на родине? Что думает об этом Н. С. Лесков?*

Вообще образ повествователя занимает в этом произведении очень важное место. Обратите внимание на его речь. Сравните ее с речью повествователя из уже известной вам новеллы «Привидения в Инженерном замке» и задумайтесь: *почему Н. С. Лесков избирает здесь именно такую манеру повествования? Как она помогает писателю выявить свое отношение к рассказываемому?*

Самое время в связи с образом повествователя познакомить вас с одним очень важным понятием, которое наверняка еще не раз пригодится вам при работе с художественным текстом. Я имею в виду понятие литературного стиля.

Литературный стиль – это совокупность поэтических

приемов и средств, свойственных какому-то одному произведению (стиль произведения), творчеству писателя (стиль писателя), эпохе (стиль эпохи) и пр. Кроме того, есть лингвистическое понятие стиля речи: книжный стиль, разговорный стиль, ораторский стиль и т. п.

У каждого писателя вырабатывается свой неповторимый стиль. Именно он позволяет отличить «голос» одного автора от «голоса» другого. Но есть свой стиль и у каждого отдельного произведения, что также совершенно закономерно. Ведь художественный мир произведения всегда неповторим, и для его создания нужны специальные, только для него подходящие приемы и художественные средства.

Чтобы лучше представить себе своеобразие стиля «Левши», вспомните, в чем заключаются особенности сказового повествования: «Сказ – это способ организации повествования, ориентированный на устную, часто простонародную речь».

Н. С. Лесков придумал для «Левши» удивительного рассказчика, чья речевая характеристика способна сказать о нем больше, чем придуманная биография.

Перечитайте несколько страниц «Левши», и вы, я думаю, сумеете назвать те основные особенности, которые и создают неповторимую атмосферу, рожденную стилем этого произведения.

Левша
Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе

Глава первая

Когда император Александр Павлович окончил венский совет[38], то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов[39], который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть, – и чем-нибудь отведет.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали,

особенно в больших собраниях, где Платов не мог вполне по-французски говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы[40], оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, – Платов сказал себе:

– Ну уж тут шабаш[41]. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

– *Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру*[42] *смотреть. Там, – говорит, – такие природы совершенства, что как посмотришь, то уж больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.*

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый[43] нос в лохматую бурку[44] спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень[45] Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

Глава вторая

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную[46].

Приезжают в пребольшое здание – подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры[47], и посредине под валдахином[48] стоит Аболон полведерский[49]. Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит, – только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: буреметры[50] морские, мерблюзьи[51] мантоны[52] пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли[53].

Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию[54], что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

– Как это возможно – отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто

тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

– Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и двенадесять язык прогнали[55].

Государь говорит:

– Это безрассудок[56].Платов отвечает:

– Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово[57] ружье, а из другой пистолю[58].

– Вот, – говорят, – какая у нас производительность, – и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него в Царском Селе такие есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

– Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства – ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии[59] из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может.

Взахался ужасно.

– Ах, ах, ах, – говорит, – как это так… как это даже можно так тонко сделать! – И к Платову по-русски оборачивается и говорит: – Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сразу же благородным бы сделал[60].

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два – замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

– Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

– Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким сном казачьим.

Было ему и радостно, что англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем под такой случай государь англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? – подумал Платов, –

совсем того не понимаю», – ив таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане в это же самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

Глава третья

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

– Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедем в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

– Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают.

Поехали.

Англичане все государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

– А покажите-ка нам ваших заводов сахар молво[61]?

А англичане и не знают, что это такое молво. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

– Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим молво Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

– Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории[62], начиная с самой огромнейшей египетской керамидой[63] до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе: «Вот, слава Богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет.

Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

– Что это такое значит? – спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

– Это вашему величеству наше покорное поднесение.

– Что же это?

– А вот, – говорят, – изволите видеть сориночку? Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

– Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

– На что же мне эта соринка?

– Это, – отвечают, – не соринка, а нимфозория.

– Живая она?

– Никак нет, – отвечают, – не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе[64] танцевать.

Государь залюбопытствовал и спрашивает:

– А где же ключик? А англичане говорят:

– Здесь и ключ перед вашими очами.

– Отчего же, – государь говорит, – я его не вижу?

– Потому что, – отвечают, – что это надо в мелкоскоп[65]. Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

– Извольте, – говорят, – взять ее на ладошечку – у нее в пузичке золотая дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе…

Насилу государь этот ключ ухватил и насилу его мог в щепотке удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции[66] в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кавриль[67] станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами, – хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли; без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного брильянтового ореха – и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что

футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя – нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что говорит:

– Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр, – говорит, – всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

– Оставь, пожалуйста, это не твое дело – не порть мне политики. У них свой обычай. – И спрашивает: – Сколько тот орех стоит, в котором блоха вместится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана перламутром и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же, – говорит, – принадлежит, а денег вы у нас и без того много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота[68]. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут – все могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем иной смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую[69] трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу

Федоту государь Платова уже совсем не взял.

– Ты, – говорит, – к духовной беседе невоздержен итак очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку[70], да так все лежал да покуривал Жуков табак[71] без перестачи.

Глава четвертая

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елизавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

– Мое, – говорит, – теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны, – а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми другими драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе[72] его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся от брата ему шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая. Государь посмотрел и удивился.

– Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

– Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

– Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, нерусская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки, – но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать, – никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он

как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился государю во всех орденах. Государь говорит:

– Что тебе, мужественный старик, от меня надобно? А Платов отвечает:

– Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я, – говорит, – пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали: это, – говорит, – так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, – и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузико эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны вероящии делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

– Это, – говорит, – ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестрорецке, – тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали, – не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

– Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и больше на свою досадную укушетку не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

Глава пятая

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам, слова государевы им передал, а потом спрашивает:

– Как нам теперь быть, православные? Оружейники отвечают:

– Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну

минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против нее, – говорят, – надо взяться подумавши и с Божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать, – остановись – спосылай за нами: мы к той поре, Бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступили, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

– Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на Бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже. Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

– Ну, нечего делать, пусть, – говорит, – будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего, – я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу, – тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники его вполне успокоили:

– Тонкой работы, – говорят, – мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойное представить.

А что именно, этого так-таки и не сказали.

Глава шестая

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами

и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не дозволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто[73] верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь – долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

Глава седьмая

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон[74]: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большему служению и пойдет в монашество, то таковые слывут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки – народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверное, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые

взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направляясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная»[75] икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и престрашного» – святитель Мир-Ликийских[76] изображен на ней «в рост», весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч– «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все втрое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют – ничего не известно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются – неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, – не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничего не брало этих хитрых мастеров; один раз только высунулся левша по плечи и крикнул:

– Горите себе, а нам некогда, – и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул, и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

Глава восьмая

Платов ехал очень спешно с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые[77] казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия,

чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам ногой из коляски ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни на одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.

Так они и в Тулу прикатили, – тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит – все ему еще нескоро показывается.

Так в тогдашнее время требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

Глава девятая

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики – те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль[78] сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

– Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого Бога нет!

А те отвечают:

– Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

– Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

– Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

Глава десятая

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

– Вот они сами здесь! Платов сейчас к мастерам:

– Готово ли?

– Все, – отвечают, – готово.

– Подавай сюда. Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор на месте. Казаки рядом с ямщиком уселись и нагайки над ними подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, – видит: аглицкая блоха лежит там какая была: а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

– Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

– Тут и наша работа. Платов спрашивает:

– В чем же она себя заключает? А оружейники отвечают:

– Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду, – и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

– Где ключ от блохи?

– А тут же, – отвечают. – Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него куцапые: ловил, ловил, – никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

– Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

– Напрасно нас так обижаете, – мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, – мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти – он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

– Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстанусь, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами косого левшу, так что у него все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

– Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пубеля[79], – ты мне за всех ответишь. А вы, – говорит свистовым, – теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтрая у государя в Петербурге был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента[80] увозите? Ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак – такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

– Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони – все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

Глава одиннадцатая

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный[81] и

памятный – ничего не забывал. Платов знал, что он его непременно о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то помолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат[82] без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же спрашивает:

– А что же, мои мастера тульские против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

– Нимфозория, – говорит, – ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не смогли.

Государь ответил:

– Ты – старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

– Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

Глава двенадцатая

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, – а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

– Что за лихо! – Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

– У тебя на руках персты тонкие – возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни

одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

– Ах, они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собою захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

– У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь за какую надобность надо мной такое повторение?

– Это за то, – говорит Платов, – что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

– Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

– Я тебе, – говорит, – такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого Царя Благая Мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят, – потому что его терпеть не могли за храбрость.

Глава тринадцатая

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:

– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. – И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, – словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть ничего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

– Привести ко мне сейчас этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

– Его бы приодеть надо – он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

– Ничего – ввести как он есть. Платов говорит:

– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

– Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик[83] старенький, крючочки не застегиваются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

– Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

– Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть? Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто. Государь говорит:

– Оставьте над ним мудрить, – пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

– Мы, – говорит, – вот как клали. – И положил блоху под мелкоскоп. – Смотри, – говорит, – сам – ничего не видно.

Левша отвечает:

– Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь вопросил:

– А как же надо?

– Надо, – говорит, – всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

– Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень сильно мелко!

– А что же делать, – отвечает левша, – если только так нашу работу заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял – взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

Глава четырнадцатая

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что это и еще не все удивительное.

– Если бы, – говорит, – был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, – говорит, – увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

– И твое имя тут есть? – спросил государь.

– Никак нет, – отвечает левша, – моего одного и нет.

– Почему же?

– А потому, – говорит, – что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты. Там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?

А левша ответил:

– Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

– Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал. Левша отвечает:

– Бог простит, – это нам не впервые снег такой на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию – вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

– Пусть, – говорит, – над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал – прислал.

А граф Кисельвроде[84] велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, чтобы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу

чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

Глава пятнадцатая

Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу песни русские пел, только припев делал по-иностранному: «Ай люли – се тре жули»[85].

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить – не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, – англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг[86] в огне, – он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно было есть», – и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая – вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские[87] ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон[88] вышел.

– А самого этого мастера, – говорят, – мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша уже порядочно подрумянился, и говорит: «Вот он!»

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как равного себе – за руки. «Камрад[89], – говорят, – камрад – хороший мастер, – разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с

вежливостью первый пить не стал: думает, – может быть, отравить с досады хотите.

– Нет, – говорит, – это не порядок: и в Польше нет хозяина больше, – сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:

– Что он – лютеранец или протестантист? Курьер отвечает:

– Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

– А зачем же он левой рукой крестится? Курьер сказал.

– Он – левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону[90] воды с ерфиксом[91] приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

– Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

– Это удивительно. А левша им отвечает:

– У нас это так повсеместно.

– А что же это, – спрашивают, – за книга в России «Полусонник»?

– Это, – говорит, – книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

– Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот вы хоша очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

– Об этом, – говорит, – спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

– Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность

передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

– У меня, – говорит, – дома родители есть. Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

– Мы, – говорит, – к своей родине привержены и тятенька мой уже старичок, а родительница – старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

– Вы, – говорят, – обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

– Этого, – ответил левша, – никогда быть не может.

– Почему так?

– Потому, – отвечает, – что наша русская вера самая правильная, и как верили наши праотцы, так же точно должны верить и потомцы.

– Вы, – говорят англичане, – нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.

– Евангелие, – отвечает левша, – действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

– Почему вы так это можете судить?

– У нас тому, – отвечает, – есть все очевидные доказательства.

– Какие?

– А такие, – говорит, – что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы[92] и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине – мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

– Отчего же так? – спрашивают. – Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

– Я их не знаю. Англичане отвечают:

– Это не важно суть – узнать можете, мы вам грандеву[93] сделаем.

Левша застыдился:

– Зачем, – говорит, – напрасно девушек морочить. – И отнекался. – Грандеву, – говорит, – это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надомною большую насмешку сделают.

Англичане полюбопытствовали:

– А если, – говорят, – у вас без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

– У нас, – говорит, – когда человек хочет насчет девушки

обстоятельные намерения обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

– Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятиством ладошками охлопывать, а сами и спрашивают:

– Мы бы, – говорят, – только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

– Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности: тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки[94]. Совсем точно обезьяна сапажу[95]– плисовая[96] тальма[97].

Англичане засмеялись и говорят:

– Какое же вам в этом препятствие?

– Препятствия, – отвечает левша, – нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего этого разбираться станет.

– Неужели же, – говорят, – ваш фасон лучше?

– Наш фасон, – отвечает, – в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

– Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

– На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

– А потом, – говорят, – мы его на своем корабле привезем и живого в Петербург доставим.

На это он согласился.

Глава шестнадцатая

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались, – и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень понравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них в постоянной сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты[98] с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом[99], а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица[100] умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, – на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цифирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

– Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет, – засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

– Это, – говорит, – против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

– Не могу ли, – говорит, – я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

– Которые тут были, те, должно быть, глядели.

– А как, – говорит, – они были: в перчатке или без перчатки?

– Ваши генералы, – говорят, – парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно скучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

– Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всему вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть

нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

– Мы на барометр, – говорят, – смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное[101] море.

– Это все равно, – отвечает, – где умереть, – все единственно, воля Божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром[102], для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент[103] сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит.

Как вышли из буфты[104] в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление[105] стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет – под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

– Нет, – отвечает, – мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колыхания морская свинка сделается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному подшкиперу[106], который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот подшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

– Молодец, – говорит, – рус! Выпьем! Левша выпил.

А подшкипер говорит:

– Еще!

Левша и еще выпил, и напились. Подшкипер его спрашивает:

– Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

– Это мое дело.

– А если так, – отвечал подшкипер, – так давай держать с тобой аглицкое парей[107].

Левша спрашивает:

– Какое?

– Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится, – скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно – пари держать все-таки веселее будет.

– Хорошо, – говорит, – идет!

– Только чтоб честно.

– Да уж это, – говорит, – не беспокойтесь. Согласились и по рукам ударили.

Глава семнадцатая

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде[108], но шли все наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только подшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин[109].

Левша говорит:

– Перекрестись и отворотись – это черт из пучины. Англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

– Хочешь, – говорит, – я тебя в море швырну? Ты не бойся – он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

– Если так, то швыряй.

Подшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть, свое пари выдержать, – а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу – в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

Глава восемнадцатая

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую

пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока подшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

– Кто такой и откудова, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городовой левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате[110] лежал; потом поймал городовой извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, все роняют, а поднимать станут – ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу – не принимают без тугамента, привезли в другую – и там не принимают, и так в третью, и в четвертую – до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь[111] сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую[112] больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий подшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью[113] съел, ерфиксом запил и говорит:

– Где мой русский камрад? Я его искать пойду. Оделся и побежал.

Глава девятнадцатая

Удивительным манером подшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он на полу в коридоре лежал и жаловался англичанину.

– Мне бы, – говорит, – два слова государю непременно надо

сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю[114] и зашумел:

– Разве так можно! У него, – говорит, – хоть и шуба овечкина, так душа человечкина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову – он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

– Как же, братец, – говорит, – очень коротко с нимзнаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я совсем отслужился и полную пуплекцию[115] получил – теперь меня больше не уважают, – а ты беги скорее к коменданту Скобелеву[116], он в силах и тоже в этой части опытный, а он что-нибудь сделает.

Подшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

– Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского[117].

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

– Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву[118] доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

– Знай, – говорит, – свое рвотное и слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

– Пошел к черту, плезирная[119] трубка, не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал, – тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется», – так и

молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя, – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

Глава двадцатая

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народною фантазией миф он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою».

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте сказовую форму повествования. Как она связана с образом повествователя?

2. Определите основной конфликт и проследите развитие сюжета «Левши».

3. Сопоставьте образы двух царей, Александра и Николая. Для чего вводится их сопоставление?

4. Объясните идейную и композиционную роль атамана Платова.

5. Почему Платов предлагает искать русских мастеров в Туле?

6. Как характеризует главного героя произведения его портрет?

7. Какие черты характера Левши подчеркивает автор?

8. Как объясняет мастерство «не знающих арифметики» оружейников Левша?

9. Как характеризуют героя его последние слова? Как они связаны с идеей произведения?

10. Напишите сочинение на тему: «Русские мастера в отечественной литературе».

Читательская лаборатория
Как научиться характеризовать национальные особенности литературного характера.

Как вы думаете, почему в нашем учебнике так много произведений зарубежной литературы?

У нас есть возможность изучать отечественную литературу в контексте, то есть окружении мировой литературы. Благодаря этому мы учимся воспринимать русскую литературу как часть мирового литературного процесса. Но есть еще одна причина: сравнивая русскую и зарубежную литературы, мы более ярко осознаем национальную самобытность нашей отечественной литературы, которая проявляется, кроме прочего, и в национальных особенностях ее героев.

Обратимся еще раз к произведению Н. С. Лескова «Левша».

Чему мы должны научиться, чтобы увидеть национальные особенности созданного в нем литературного характера?

Правило первое. Чтобы научиться характеризовать национальные особенности литературного характера, необходимо составить представление о персонаже: какие качества характера героя определяют его личностные особенности.

Чем интересен герой сказа Н. С. Лескова «Левша»?

Он мастер, умелец, талантливый в своем деле человек: среди других «искусных людей», подковавших блоху, он делал гвоздики, самую ювелирную работу, поэтому так и остался безвестным для потомков. Не славы ищет герой, а честно исполняет свой долг, как его понимает: выполнить работу, с которой связана «надежда нации» – «чтобы англичане над русскими не предвозвышались». Более всего Левша старается не подорвать веру своего государя в русского человека, когда тот говорит: «…а я на своих надеюсь, что они никого не хуже». Поэтому так велико желание героя послужить отечеству верой и правдой, себя не пожалеть: «День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают… Пробовали их пугать…»

Правило второе. Чтобы научиться характеризовать национальные особенности литературного характера, необходимо ответить на вопросы:

Что сближает героя с другими героями произведений национального фольклора и литературы?

Какие общие с ними качества характера проявляет герой?

Искусство тульского мастера в изображении Н. С. Лескова– проявление талантливости русского народа: «Левша отвечает:

– Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

– Это удивительно. А левша им отвечает:

– У нас это так повсеместно».

Нежелание остаться на чужбине при том, что «хозяйственные порядки их ему очень понравились», – проявление тоски по родине, невозможность жить вне ее: «Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

– …а теперь я скорее домой хочу».

В бескорыстии, по мнению Н. С. Лескова, проявляется истинный патриотизм героя: в конце произведения, забытый в своем Отечестве, никому не нужный, умирающий Левша «только мог внятно выговорить:

– Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся».

Характеристика общих с другими героями произведений русского фольклора и литературы качеств характера Левши позволяет нам сделать следующий шаг в работе.

Правило третье. Чтобы научиться характеризовать национальные особенности литературного характера, необходимо соотнести качества его характера с системой общенародных взглядов и ценностей, с общенародным идеалом.

Любовь к Отечеству, желание ему послужить, талантливость, трудолюбие, честность, стремление к самосовершенствованию, высокая требовательность к себе – главные качества человека в системе народных ценностей, которые воплощены не только в фольклоре, но и в лучших произведениях древнерусской литературы, классики XIX–XX веков. Проявление этих качеств в герое сказа Н. С. Лескова и есть выражение национальных особенностей его литературного характера.

Применив все три правила, вы сможете ответить на вопрос: *«Какие национальные особенности характера проявляются в образе «мужичины-лежебоки» из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»?*

Покорность и бессловесность при умелости и смекалке – отличительная черта героя М. Е. Салтыкова-Щедрина: он не только накормил и напоил генералов, но и сам веревку свил, которой генералы «привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать».

Добровольное рабство как следствие многовековой несвободы человека в России, угнетения в нем чувства человеческого достоинства в оценке М. Е. Салтыкова-Щедрина – проявление национальных особенностей в образе его героя.

Этот вывод позволяет нам сформулировать следующее правило.

Правило четвертое. Чтобы научиться характеризовать национальные особенности литературного характера, необходимо знать, что национальные особенности литературного характера – понятие емкое, сложное, связанное с противоречивостью его проявлений: это не только достоинства человека, вызывающие гордость за него, но и его слабости, заставляющие нас сострадать такому герою.

Национальные особенности литературного характера могут проявляться не только у персонажей из народа. Вспомните героиню произведения А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» Лизу и ответьте на вопросы:

Почему Лиза столь убедительна в крестьянском наряде?

Почему ей удается обмануть Алексея?

Почему он верит, что перед ним крестьянская девушка?

Впервые примеренная на себя роль крестьянской девушки оказывается для нее близкой и понятной, более того, она «никогда еще так мила самой себе не казалась». Естественность ее поведения, манер, речи, выражения чувств убедили Алексея в подлинности крестьянского происхождения Лизы.

Как вы объясняете, почему, несмотря на то, что у нее в воспитателях «была мадам англичанка», отец «развел английский сад», «конюхи его были одеты английскими жокеями», Лизе так удается роль Акулины?

Английские атрибуты быта, обучение на иностранный манер – внешние факторы влияния. Есть то, что составляет главное, основу характера– «самобытность» уездных барышень, по словам А. С. Пушкина, их «прелесть»: «Воспитанные на чистом воздухе, в

тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам».

Так мы приходим к следующему выводу.

Правило пятое. Чтобы научиться характеризовать национальные особенности литературного характера, необходимо знать, что русская литература запечатлела особенности русского национального характера вне сословий и времени.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Вот уж поистине удивительный писатель! Читая его произведения, ловишь себя на мысли, что он, живя во второй половине XIX века, каким-то образом сумел заглянуть в будущее и подсмотреть нашу сегодняшнюю жизнь.

Это кажется невероятным, но на самом деле ничего невероятного в этом нет. Перед нами вновь демонстрирует свои неисчерпаемые возможности могучая сила искусства. М. Е. Салтыков-Щедрин был замечательным сатириком. Пристально вглядываясь в российскую действительность, он видел засилье невежд и тупиц, от которых зависели не только судьбы отдельных людей, но и всего великого государства. Много и других печальных истин открывалось наблюдательному взору писателя-патриота.

М. Е. Салтыков-Щедрин сам был государственным деятелем, одно время даже исполнявшим обязанности губернатора. Он слишком хорошо знал, как много пороков укоренилось в России и как опасны они для ее будущего. Писатель хотел предупредить своих читателей, раскрыть им глаза на наиболее страшные недостатки, присущие русской жизни.

Своим оружием он избирает сатиру, стремится не просто показать порок, вскрыв его причины и следствия, но высмеять его, показать в самом неприглядном виде, чтобы вызвать презрение и внутреннее неприятие у читателя. Персонажи произведений писателя-сатирика– это глупые и жестокие правители, чиновники-взяточники, отупевшие от безделья богачи-аристократы, мракобесы, подхалимы и прочая нечисть.

М. Е. Салтыков-Щедрин написал много самых разных произведений: новелл, очерков, романов. Есть среди них и сказки. Но сказки этого писателя совсем особые, тоже сатирические, соединяющие в себе черты сказки и басни.

Сказочный мир, в котором «по щучьему велению, по авторскому хотению» могут произойти самые невероятные вещи, нужен писателю для того, чтобы наглядно продемонстрировать читателям грозящие их государству опасности.

Вот перед вами замечательный образец сатирического мастерства писателя – «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Здесь автор сталкивает лицом к лицу тех, кто в реальной жизни оказывается разделенным. Генералы, полагающие, что «булки растут на деревьях», всю жизнь прожили в городе и не имеют ни малейшего представления о крестьянском труде мужика. Но Салтыков-Щедрин, пользуясь правом

сказочника, переносит их на необитаемый остров и предлагает читателю посмотреть, как будут себя вести в этой непростой ситуации его персонажи и на что каждый из них способен. М. Е. Салтыков-Щедрин, как и вы, хорошо знал роман Д. Дефо и рассчитывал, что его читатели имеют представление о тяготах борьбы за жизнь в подобной ситуации.

Фантастическая условность позволяет писателю показать не только глупость и нежизнеспособность генералов-чиновников, но и их ненужность и даже вредность для общества.

> *Ваша задача – проследить, какими художественными средствами добивается этого автор. Какие сатирические приемы использует писатель в сказе? Как проявляется отношение повествователя к генералам?*

М. Е. Салтыков-Щедрин не был бы великим писателем, если бы просмотрел подлинные и разнообразные причины процветания многочисленных генералов в России. Показывая ловкость и умения мужика, писатель подводит своих читателей к закономерному вопросу: а почему тот безропотно выполняет дурацкие приказы генералов, сносит их издевательства, да еще сам плетет веревку, которой привязывают его поработители?

Добро бы еще дело происходило в Санкт-Петербурге или его окрестностях, где к услугам генералов были и армия, и полиция, и другие исполнители их злобной воли. Но тут-то ведь необитаемый остров, где без мужика генералов ждет верная смерть или одичание…

> *Попробуйте-ка сами решить эту задачу, а чтобы получить правильный ответ, рекомендую вам сопоставить характеры генералов и мужика с характером Робинзона.*

Ну и, конечно же, приглядитесь, как автор создает характер мужика. *Какие черты Салтыков-Щедрин считает главными и как показывает их читателю?*

> *Попробуйте объяснить идею этой сказки и задумайтесь: не применим ли он к нашим сегодняшним проблемам, не напоминает ли нам писатель уже далекого XIX века о том, чего мы могли бы избежать сегодня, если бы вовремя восприняли его уроки.*

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени – по щучьему велению, по моему хотению – очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре, там родились, воспитались и состарились – следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

– Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, – сказал один генерал, – вижу, будто живу я на необитаемом острове…

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

– Господи! да что ж это такое! где мы! – вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия[120].

Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру. Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука приключилась, и во второй раз заплакал.

– Что же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слезы, – ежели теперича доклад написать – какая польза из этого выйдет?

– Вот что, – отвечал другой генерал, – подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, – ив правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все

стороны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

– Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! – сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов[121] учителем каллиграфии[122] и, следовательно, был поумнее.

Сказано – сделано. Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» – подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес – а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

– Господи! еды-то! еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться в условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

– Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?

– Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей»[123], и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рябчики, тетерева, зайцы.

– Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? – сказал один генерал.

– Да, – отвечал другой генерал, – признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

– Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить… Только как все это сделать?

– Как все это сделать? – словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

– Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! – сказал один генерал.

– Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! –

вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они медленно начали подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг, оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

– С нами крестная сила! – сказали оба они разом, – ведь этак мы друг друга съедим!

– И как мы попали сюда! Кто тот злодей, который над нами такую шутку сыграл!

– Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! – проговорил один генерал.

– Начинайте! – отвечал другой генерал.

– Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

– Странный вы человек, ваше превосходительство; но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

– Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

– Гм… да… А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать – и спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

– Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, – начал опять один генерал.

– Как так?

– Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся…

– Тогда что ж?

– Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…

– Тьфу!

Одним словом, о чем бы ни начинали генералы разговор, он постепенно сводился на воспоминания об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, – читал взволнованным голосом один генерал, – у

почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая»[124], и питомец лесов кавказских – фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника…»

– Тьфу ты, Господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? – воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее: «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав[125], Б.), был в здешнем клубе фестиваль[126]. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая…»

– Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! – прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же от огорчения печень его увеличится…»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, – все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо, как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…

– А что, ваше превосходительство, – сказал он радостно, – если бы нам найти мужика?

– То есть как же… мужика?

– Ну да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

– Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

– Как нет мужика – мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

– Спишь, лежебок! – накинулись они на него, – небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хороню быть генералами – нигде не пропадешь!»

– Довольны ли вы, господа генералы? – спрашивал между тем мужичина-лежебок.

– Довольны, любезный друг, видим твое усердие! – отвечали генералы.

– Не позволите ли теперь отдохнуть?

– Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина конопли, размочил в воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот здесь они на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

– А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было Вавилонское столпотворение[127], или это только так, одно иносказание? – говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

– Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки?

– Стало быть, и потоп был?

– И потоп был, потому что в противном случае как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более что в «Московских ведомостях» повествуют…

– А не почитать ли нам «Московских ведомостей»? Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани, – и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

– Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? – спрашивал один генерал другого.

– И не говорите, ваше превосходительство! Все сердце изныло! – отвечал другой генерал.

– Хорошо-то оно хорошо здесь – слова нет! А все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! Да и мундира тоже жалко!

– Еще как жалко-то! особливо как четвертого класса[128], так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

– А ведь мы с Подьяческой генералы! – обрадовались генералы.

– А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит – это он самый я и есть! – отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и – мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль – не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

– Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! – сказали генералы, увидев покачивающуюся на волнах ладью.

– Будьте покойны, господа генералы, не впервой! – отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство – этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько денег тут загребли – того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли: выслали ему рюмку водки да пятак серебра – веселись, мужичина!

Вопросы и задания

1. Какие характерные черты литературной сказки вы можете отметить в этом произведении?

2. Объясните, почему сатирик обращается к жанру сказки.

3. Как используются в сказке приемы робинзонады?

4. Какие пороки обличает автор в образах генералов?

5. Каких сатирических целей достигает автор, цитируя «Московские ведомости»? Как эти цитаты связаны с созданием образов генералов?

6. Сопоставьте характер Мужика с характером Левши: что в них общего и чем они различаются.

7. Сопоставьте «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» с «Повестью о Шемякином суде» и объясните, чем различаются в них образы мужиков.

8. Составьте план современной сатирической сказки-робинзонады.

Сергей Тимофеевич Аксаков

Сказку С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» вы слышали еще в раннем детстве и уже тогда могли оценить достоинства этого русского писателя середины XIX столетия. С. Т. Аксаков оставил нам превосходные образцы автобиографической прозы. Острая наблюдательность, писательский талант и богатый внутренний мир этого человека делают его воспоминания удивительно увлекательными.

Отличительная особенность прозы С. Т. Аксакова– установка на сказовую форму повествования. В его автобиографических произведениях («Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука») и в произведениях о русской природе («Записки об ужении рыбы», «Записки ружейного охотника») отчетливо слышится голос рассказчика, образованного и любознательного человека, проникновенно любящего родную природу.

С. Т. Аксаков очень бережно относился к слову. Он восхищался богатством и точностью русского языка, умело используя это богатство для создания образных, проникнутых искренним чувством произведений.

«Очерк зимнего дня» описывает не только красоту русской природы, но представляет нам характер помещика середины прошлого столетия, ощущающего неразрывную связь с окружающим его миром.

Охарактеризуйте образ повествователя, отметьте, какими художественными средствами передаются чувства и впечатления, переживаемые им.

Очерк зимнего дня

В 1813 году с самого Николина дня[129] установились трескучие декабрьские морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и двадцать девятого декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелою. Вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок[130], и неприкрытая земля промерзла на три четверти аршина[131]. Врывая столбы для постройки рижного сарая[132], крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году дождаться

богатого урожая озимых хлебов. Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невеяными, так что и деваться с ними было некуда. С трудом пробивали пешнями[133] и топорами проруби на пруду, лед был толщиною с лишком в аршин, и когда доходили до воды, то она, сжатая тяжелою, ледяною корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, когда широко затопляла прорубь, так что для чищенья ее надобно было подмащивать[134] мостки. Скот грелся постоянно едою, корма выходило втрое против обыкновенного, и как от летней засухи уродилось мало трав и соломы, то крестьяне начинали охать и бояться, что корму, пожалуй, не хватит и до Алексея Божьего человека[135]. Стали бить лишнюю скотину, и мясо так подешевело, что говядину продавали по три копейки ассигнациями[136], а баранину по две копейки за фунт. Достаточные крестьяне уже не обедали без свежинки; но скоро стали замечать, что от мясной пищи прибавляются больные, и стали ее опасаться.

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней. Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие, как две капли воды, один на другой, а как-то невесело, беспокойно становилось на душе, да и народ приуныл. Болезни, безветрие, бесснежие, и впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот, наконец, пошли косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт. Как будто сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю. Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю. Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и

поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.

Хотя мне, как страстному ружейному охотнику, мелко-было выгодно и стрельба тетеревов с подъезда, несмотря на стужу, была удобна и добычлива, но, видя общее уныние и сочувствуя общему желанию, я также радовался снегу. Я воротился домой, но не в душную комнату, а в сад, и с наслаждением ходил по дорожкам, осыпаемый снежными хлопьями. Засветились огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперек улицы; предметы смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок… «Какая пороша будет завтра, – подумал я, – если снег к утру перестанет идти, где малик[137] – там и русак…» И охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением. Я особенно любил следить русаков, которых множество водилось по горам и оврагам, около хлебных крестьянских гумен[138]. Я с вечера приготовил все охотничьи припасы и снаряды; несколько раз выбегал посмотреть, идет ли снег, и, убедясь, что он идет по-прежнему, так же сильно и тихо, так же ровно устилая землю, с приятными надеждами лег спать. Длинна зимняя ночь, и особенно в деревне, где ложатся рано: бока пролежишь, дожидаясь белого дня. Я всегда просыпался часа за два до зари и любил встречать без свечки зимний рассвет. В этот день я проснулся еще ранее и сейчас пошел узнать, что делается на дворе. На дворе была совершенная тишина. Воздух стал мягок, и, несмотря на двенадцатиградусный мороз, мне показалось тепло. Высыпались снежные тучи, и только изредка какие-то запоздавшие снежинки падали мне на лицо. В деревне давно проснулась жизнь; во всех избах светились огоньки и топились печи, а на гумнах, при свете пылающей соломы, молотили хлеб. Гул речей и стук цепов[139] с ближних овинов[140] долетал до моего слуха. Я засмотрелся, заслушался и не скоро воротился в свою теплую комнату. Я сел против окошка на восток и стал дожидаться света; долго нельзя было заметить никакой перемены. Наконец, показалась особенная белизна в окнах, побелела изразцовая печка, и обозначился у стены шкаф с книгами, которого до тех пор нельзя было различить. В другой комнате, дверь в которую была отворена, уже топилась печка. Гудя и потрескивая и похлопывая заслонкой, она освещала дверь и половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом. Но белый день вступал в свои права, и освещение от топящейся печки постепенно исчезало. Как хорошо, как сладко было на душе! Спокойно, тихо и светло! Какие-то

неясные, полные неги, теплые мечты наполняли душу…

«Лошади готовы: пора, сударь, ехать!» – раздался голос Григория Васильева, моего товарища по охоте и такого же страстного охотника, как я. Этот голос возвратил меня к действительности. Разлетелись сладкие грезы! Русачьи малики зарябили перед моими глазами. Я поспешно схватил со стены мое любимое ружье, моего неизменного испанца…

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте образ русского помещика в очерке.

2. Сопоставьте крестьянское и помещичье восприятие зимы в очерке, объясните их различие.

3. Какие художественные средства использует автор для создания зримых образов зимней природы?

4. Напишите свой очерк зимнего дня.

Николай Алексеевич Некрасов

Русский поэт середины XIX столетия Н. А. Некрасов главной своей задачей поставил изображение народной души, богатства характеров и таланта русских крестьян.

Стихотворение «Школьник» построено как монолог, обращенный к крестьянскому мальчику, чей образ напоминает автору черты «архангельского мужика» – великого русского ученого М. В. Ломоносова.

Скажите, как в этом произведении передается лирическая позиция автора. Какие художественные приемы использует поэт для создания лирического настроения? Определите стихотворный метр и особенности рифмовки в этом произведении.

Школьник

– Ну, пошел же, ради Бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога…
Эй! садись ко мне, дружок! —

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь…
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.

Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь…
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош[141].

Знаю, старая дьячиха
Отдала четвертачок[142],
Что проезжая купчиха
Подарила на чаек.

Или, может, ты дворовый[143],
Из отпущенных[144]?.. Ну что ж!
Случай тоже уж не новый —
Не робей, не пропадешь!

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете —
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете —
Сон свершится наяву!

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь…
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных, то и знай, —

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

Вопросы и задания

1. Объясните смысл названия стихотворения.

2. Как и для чего используется в стихотворении антитеза?

3. Какие черты главного персонажа сближают его с образами Мужика из сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина и Левши из одноименного произведения Н. С. Лескова?

4. Объясните особенности патриотизма Н. А. Некрасова.

5. Составьте ритмическую схему одного из четверостиший и охарактеризуйте рифмовку стихотворения, объясните, как ритм помогает выявить авторское отношение к образу школьника.

Лев Николаевич Толстой

Русский писатель-реалист второй половины XIX века Л. Н. Толстой по праву считается одним из лучших мастеров, изображавших внутренний мир человека. Он обладал умением передать «диалектику души» в удивительно жизненных образах, то есть показать внутреннюю жизнь персонажа в ее развитии, вызванном противоречиями человеческого характера.

Новелла «После бала» – один из маленьких шедевров мировой литературы. В этом произведении писатель изображает очень сложный, внутренне насыщенный человеческий характер, проявляющийся во всей полноте во время короткого рассказа о единственном эпизоде из его жизни.

> *Подумайте, почему в этой новелле писатель использует рамочную композицию. Какая важная проблема выносится автором в рамочное повествование?*

Л. Н. Толстой мастерски использовал в своих произведениях возможности художественной детали.

> *Объясните значение таких деталей, как отсутствие боевых наград у полковника, его неуставные сапоги и замшевая перчатка. Проследите все случаи применения антитезы в новелле.*

После бала

– Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

– Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе,

не от среды, а совсем от другого.

– От чего же? – спросили мы.

– Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

– Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

– Да, – сказал он. – Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее, утра.

– Да что же было?

– А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое, у нее уже дочери замужем… Это была Б… да, Варенька Б… – Иван Васильевич назвал фамилию. – Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо – как будто не могла иначе, – откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого молодого существа.

– Каково Иван Васильевич расписывает.

– Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец[145] лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег – ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

– Ну, нечего скромничать, – перебила его одна из собеседниц. – Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный[146] портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.

– Красавец, так красавец, да не в этом дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера[147].

Принимала такая же добродушная, как и он, жена его, в бархатном пюсовом[148] платье, в брильянтовой фероньерке[149] на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны[150]. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами[151], музыканты – знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду – танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных[152] башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов – я до сих пор не могу простить это ему – пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся, с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества[153], она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуру мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «encore»[154]. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела…

Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уже с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

– Так после ужина кадриль моя? – сказал я ей, отводя ее к ее месту.

– Разумеется, если меня не увезут, – сказала она, улыбаясь.

– Я не дам, – сказал я.

– Дайте же веер, – сказала она.

– Жалко отдавать, – сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

– Так вот вам, чтобы вы не жалели, – сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

– Смотрите, папá просят танцевать, – сказала она мне, указывая на высокую, статную фигуру ее отца полковника с серебряными эполетами[155], стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

– Варенька, подите сюда, – услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

– Уговорите, ma chère[156], отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславович, – обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми, a la Nicolas I[157] подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки, николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи[158], отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, – «надо всё по закону», – улыбаясь, сказал он, – взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигурка Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких, белых, атласных ножек. Вся зала следила

за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками[159], – хорошие опойковые[160] сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», – думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

– Ну все равно, пройдитесь теперь вы с ней, – сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел

на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и я слышу ее милый голос, когда она говорит: *«Гордость?* да?» – и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом – девический институт[161]. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые[162] с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, – все было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» – подумал я и по проезженной по середине

поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», – подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

– Что это они делают? – спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

– Татарина гоняют за побег, – сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ними шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад – и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед – и тогда унтер-офицеры, удерживая от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страданий лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

– О, Господи, – проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым.

Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

– Я тебе помажу, – услыхал я его гневный голос. – Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

– Подать свежих шпицрутенов[163]! – крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в углах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, – думал я про полковника. – Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было – дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», – думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался – и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

– Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, – сказал один из нас. – Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годилось,

кабы вас не было.

– Ну, это уж совсем глупости, – с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

– Ну, а любовь что? – спросили мы.

– Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видеться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите… – закончил он.

Вопросы и задания

1. Объясните смысл названия новеллы.

2. Какой основной художественный прием положен в основу новеллы?

3. Охарактеризуйте композицию новеллы.

4. Как строится повествование в новелле, зачем нужен разговор о влиянии на человека среды в ее начале?

5. Как используются в новелле портреты, в чем их особенность?

6. Какое идейное и художественное значение имеет описание орденов на груди полковника Б.?

7. Что происходит с Иваном Васильевичем после увиденной экзекуции, как он ее оценивает?

8. Почему Иван Васильевич после увиденной экзекуции отказывается от службы?

9. Почему угасает любовь Ивана Васильевича к Вареньке?10. Как в этой новелле проявляется авторская позиция?

Федор Михайлович Достоевский

Федор Михайлович Достоевский – русский писатель, творивший во второй трети XIX века. Он родился в большой семье со старинным патриархальным укладом, где читать детей учила мать, а по вечерам все собирались вокруг большого стола и родители читали вслух. Получил прекрасное образование. В молодости принимал участие в деятельности революционного кружка Петрашевского, за это был осужден, приговорен к смертной казни, замененной ему каторжными работами. Но тяжкие испытания не сломили этого человека: страстная любовь к литературе предопределила его дальнейшую судьбу. Пребывание на каторге заставило писателя задуматься над сутью православного христианства и его значением для русского человека. «Обрести Христа – значит обрести собственную душу» – вот вывод, к которому приходит он.

Есть писатели, которые своим творчеством резко меняют пути развития не только национальной, но и мировой литературы. Они приходят в мир словно для того, чтобы открыть людям самые сокровенные истины, заставить их заглянуть в глубь своей души и освободиться от всего лишнего, наносного. Таких писателей мы справедливо называем гениями.

Для всего человечества Ф. М. Достоевский – гений, написавший известные во всем мире романы («Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы»). В них содержится глубокое осмысление всех сторон человеческой жизни, подлинная любовь к человеку и неприятие бессердечного общества, основанного на власти денег и жестоком угнетении одних людей другими. Этими мыслями наполнены произведения писателя. Достоевский показал истинные причины нищеты, подавленности и трагедии русского человека, обладающего чистой и открытой душой и недюжинным талантом. «Униженные и оскорбленные» – это не только название одного из романов, это главная тема всего творчества писателя.

В свое время вы познакомитесь с этими великими произведениями, а сейчас я предлагаю вам внимательно прочитать новеллу «Мальчик у Христа на елке».

Композиционно новелла разделена на две части. Первая («Мальчик с ручкой») является размышлением автора о детях, во множестве разбросанных по городам Руси, голодных, оборванных, лишенных крова, человеческой теплоты и ласки, вынужденных терпеть унижения и побои. Это они ходят «с ручкой», а потом

воровство неосознанно превращается для них в страсть, а желание вырваться из затянувшего их круга толкает на путь бродяжничества. Боль и гнев, страдание и ужас заключают в себе последние строки этой части, не случайно ее весьма неохотно печатали в XIX веке.

Постарайтесь назвать основные черты обрисованного писателем характера и дать его обобщенный портрет. Какова авторская позиция по отношению к этому типу?

Вторая часть («Мальчик у Христа на елке») – само по себе законченное произведение. Объединяет же обе части общая тема детской доли в России. Заметьте, начинается первая часть со слов, что дети– «странный народ», а завершается настойчивым напоминанием о том, что все сказанное, к сожалению, жестокая правда. А вот вторая часть изобилует словами и оговорками, указывающими, что в ней создается иллюзорный, призрачный мир, совсем не претендующий на точность и достоверность происходившего.

Попробуйте назвать те слова и оговорки, которые показывают это. Задумайтесь, для чего они нужны автору?

Образ мальчика во второй части, покинутого всеми на земле ребенка, – суровый упрек тем, кто не замечает положения русских детей. На протяжении всего повествования автором говорится о «замерзших пальчиках» ребенка, не дающих ему покоя и заставляющих идти дальше, дальше на край гибели.

Объясните, какую роль играет в новелле пейзаж.

Но даже никому не нужный ребенок остается ребенком, мечтающим хоть на миг перенестись в мир счастья. Увидав в окне сверкающую огнями елку, украшенную красивыми игрушками, множество вкусной еды, услыхав музыку, мальчик забывает обо всем остальном.

Ф. М. Достоевский очень удачно использует прием сопоставления, сравнивая людей и игрушки: мальчик застывает с усмешкой на устах, думая о куклах, что они «совсем как живые». Куклы представляются ребенку прекраснее и лучше живых людей, потому что только они могут принести счастье несчастным, обиженным детям, которым так хочется радости, особенно в рождественскую ночь, когда совершаются чудеса и все получают подарки…

Совсем не случайно Ф. М. Достоевский приурочил действие своей новеллы к рождественским праздникам, когда все должны быть счастливы и веселы. Не случайно вторая часть завершается рассуждением об истории, сочиненной автором, «так не идущей в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя».

Мальчик у Христа на елке

I
Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице на известном углу одного мальчишку, никак не более как семи лет. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, – значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит – просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, грязь, разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку[164] и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол.

> …и в рот мне водку скверную
> Безжалостно вливал…[165]

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети

становятся совершенными преступниками. Они бродят по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, холод, побои – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что неверно слышать, и однако же, все факты.

II
Мальчик у Христа на елке

Но я романист и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте, давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же

холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтобы отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – Господи, как бы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтобы не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно: как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? У, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблок, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, и на руках стали уже совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барышня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам; не мог он согнуть свои красные пальчики и прижать

ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит, и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху, и вдруг, совсем вдруг, стало ему так хорошо; ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть. «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, – о какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, сияет и кругом все куколки, – но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это Христова елка, – отвечают они ему. – У Христа всегда в

этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… – И узнал он, что мальчики эти и девочки были все такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохнулись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохнулись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо.

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде всего; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Вопросы и задания

1. Какое символическое обобщение заключено в образе «блюстителя порядка»?

2. Чем различаются первая и вторая части произведения?

3. Можно ли сопоставить образ мальчика с образом школьника из стихотворения Н. А. Некрасова «Школьник»?

4. Какой вид условности использован в этом произведении («жизнеподобие» или «фантастика»)?

5. Объясните смысл названия произведения.

Антон Павлович Чехов

Русский писатель А. П. Чехов, живший в конце XIX века, прославился как непревзойденный рассказчик. Его любимым жанром была короткая новелла. Этот писатель обладал удивительной зоркостью и неисчерпаемым чувством юмора. Несколькими точными фразами он умел создать колоритный образ какого-нибудь персонажа или обрисовать какую-нибудь ситуацию. Вся жизнь России нашла отражение в его творчестве.

Вы наверняка читали трогательную историю собаки Каштанки, рассказанную А. П. Чеховым, и грустное письмо Ваньки Жукова, отосланное «на деревню дедушке». Но вы также должны знать, что сатирический талант принес ему славу неустрашимого борца с человеческими недостатками. Хорошо зная неисчерпаемые возможности человека, часто и охотно описывая людей, обладавших богатой душой, он становился безжалостным, когда изображал подлость, хамство, подхалимство и многие другие пороки.

Мне очень хотелось бы попросить вас перечитать новеллу «Ванька», в которой так тесно связаны друг с другом и чеховский юмор, и его гневное возмущение человеческой несправедливостью. А как прекрасен язык этой новеллы! Писатель несколькими словами создает удивительно красочные картины русской жизни. Не могу удержаться, чтобы не напомнить вам великолепный пейзаж, созданный с помощью ряда точных художественных деталей: «Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом…»

Особенность творчества А. П. Чехова заключается в сочетании юмора и сатиры. Если юмор– это веселая, но безобидная насмешка, не задевающая достоинства человека или группы изображаемых людей, то сатира, как вы уже знаете, – это безжалостное изобличение пороков, разящий смех.

Сочетание сатиры и юмора ярко проявилось в новелле «Хамелеон». В ней писатель издевается над полицейским, стремящимся угодить тем, в чьих руках сосредоточены сила и власть, и в то же время унижающим тех, кто ниже его по своему социальному положению.

Характер полицейского надзирателя Очумелова предстает в новелле удивительно полным и рельефным, хотя произведение

очень невелико по объему. Дело в том, что А. П. Чехов использует все возможности языка для создания емких художественных образов.

Посмотрите, как точно выбирает писатель название для своей новеллы, сразу же настраивая читателя на вполне определенное восприятие центрального персонажа. Затем в первых же строках называется фамилия надзирателя, и в ней тоже содержится характеристика персонажа. (Проследите, как умело вводятся в эту новеллу **говорящие фамилии.)** Очень много говорит об Очумелове его речь. А. П. Чехов умел и любил использовать **речевые характеристики** в своих новеллах.

Но вот в чем писатель был поистине непревзойденным мастером, так это в искусстве **художественной детали.** «Хамелеон» предельно насыщен деталями, причем среди них нет ни одной лишней, случайной или повторяющейся. Все они разные: одни помогают раскрыть характер, другие создают зримую точность обстановки, третьи способствуют созданию комической атмосферы новеллы.

Попробуйте отметить чеховские детали и определить, какие задачи помогает решить каждая из них.

Сопоставьте речь основных персонажей новеллы и скажите, как речевые характеристики помогают проявлению индивидуальных отличий действующих лиц.

Хамелеон [166]

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель[167] Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой[168] с реглетом, доверху наполненным конфискованным[169] крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые двери лавок и кабаков[170] глядят на Божий свет уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная! – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А… а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из-под земли выросши,

собирается толпа.

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», – да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой[171] щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

– По какому случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… – начинает Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете…

– Гм!.. Хорошо… – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. – Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель к городовому, – узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная… Чья это собака, спрашиваю?

– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы.

– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей!

– Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура, и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие!

– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их

благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом… А ежели я вру, так пущай мировой[172] рассудит. У него в законе сказано… Нынче все равны… У меня у самого брат в жандармах[173]… ежели хотите знать…

– Не рассуждать!

– Нет, это не генеральская… – глубокомысленно замечает городовой. – У генерала таких нет. У него все больше легавые[174] …

– Ты это верно знаешь?

– Верно, ваше благородие…

– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или в Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…

– А может быть, и генеральская… – думает вслух городовой. – На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую видел.

– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.

– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос цигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака– нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

– Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Подика, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?

– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая… Истребить, вот и все.

– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч…

– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. – Ишь ты, Господи! А я и не знал! Погостить приехали?

– В гости…

– Ишь ты, Господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну,

чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… Цуцик этакий…

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.

– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

Вопросы и задания

1. Сопоставьте фамилию надзирателя, название новеллы и характер центрального персонажа: как они связаны с идеей произведения.

2. Какие художественные средства использует А. П. Чехов для создания комического эффекта?

3. Проследите, как создаются речевые характеристики в «Хамелеоне».

4. Попробуйте пересказать новеллу от лица борзого щенка.

Читательская лаборатория
Как научиться понимать характер персонажа по его речи

Речь героя является важнейшим средством создания его характера. Анализ речи литературного персонажа (его речевая характеристика) помогает составить достаточно полное представление о его образе.

Правило первое. Чтобы научиться понимать характер персонажа по его речи, надо научиться характеризовать его речь на основе анализа:

– особенностей лексики,

– стилистической окрашенности речи,

– своеобразия интонации и синтаксиса.

В чем особенность речи Очумелова в новелле А. П. Чехова «Хамелеон»? Что «бросается в глаза» в речи героя?

Понаблюдайте за тем, как изменяется речь персонажа по мере развития сюжета. Что изменяется в этой речи?

В какие моменты речь персонажа становится другой, резко отличающейся от предыдущих его высказываний?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо обратиться к тексту произведения.

Правило второе. Чтобы научиться понимать характер персонажа по его речи, следует найти фрагменты текста – речь персонажа, – в которых особенности его речи проявляются наиболее ярко и полно, очевидны, привлекают внимание читателя.

Перед вами два фрагмента из «Хамелеона»: «– Гм!.. Хорошо… Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель к городовому, – узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная…»

И «—Да разве братец ихний приехали? Владимир Иванович… Ишь ты, Господи! А я и не знал! Погостить приехали?», «…Ишь

ты, Господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее!.. Собачка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма… Цуцик этакий…»

Проследите особенности лексики персонажа в первом фрагменте *(слова какого стиля речи составляют основу высказывания героя? Какие слова в его речи мы могли бы охарактеризовать как грубые? Как эти особенности лексики характеризуют Очумелова?)*.

Основу речи персонажа составляет лексика разговорного стиля («…Он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот!..»). Слово «мерзавец», выражение «кузькину мать» указывают на грубый характер лексики. Это сниженная лексика. Эти особенности речи Очумелова характеризуют его как человека неученого и невоспитанного, то есть невежественного.

Сравните лексику второго фрагмента с лексикой первого.

В целом разговорный стиль сохраняется, однако из речи ушли грубые слова. Мы уже не можем охарактеризовать эту речь как речь со сниженной лексикой. На смену выражению «…собака и прочий бродячий скот» приходит «собачка», а оценку «бешеная» сменяет эпитет «шустрая». Появляются слова с новыми смысловыми оттенками: положительной оценки («Собачка ничего себе… Шустрая такая…»), поощрения («Ррр… Рр… Сердится, шельма…»), умиления («Цуцик этакий…»), заботливости («Ну, чего дрожишь?»).

Как эти изменения характеризуют Очумелова?

Слова «кого-то из толпы» о том, что собака может быть «генерала Жигалова», в одну минуту изменили характер речи чеховского героя. Вместо откровенной грубости читатель слышит в словах персонажа, неожиданно узнавшего, чья это собака, лесть, подобострастие и раболепие.

Правило третье. Характеристика лексики на основе ее анализа помогает читателю понять социальное положение персонажа, уровень его образованности, культуры.

Продолжим учиться характеризовать речь на основе ее анализа.

Как построение фраз, особенности интонации речи передают смену чувств Очумелова: самоуверенность сменяется страхом? О чем говорит изменение темпа, ритма речи персонажа?

Обратите внимание: в первом монологе Очумелова большинство предложений – с восклицательным знаком. *Как вы думаете почему?*

Восклицательный знак указывает на интонационные особенности речи героя: Очумелов возмущается, грозит, приказывает. Он ни на минуту не сомневается в своей власти и в своей правоте.

Интонационно-синтаксические особенности второго фрагмента проявляются в первую очередь в построении предложений. Если в первом фрагменте предложения в основном строятся как развернутые высказывания, то во втором – это набор отдельных, коротких фраз, восклицаний, мало связанных друг с другом по смыслу; синтаксически и интонационно не законченных. Вместо восклицательного знака чаще используется многоточие.

Обилие многоточий, короткие фразы, их бессвязность выдают состояние персонажа: его знобит– он уже трясется от страха, узнав, кому принадлежит собачка. Такое отрывочное, незаконченное, нелогичное построение фраз объясняет сбивчивое, неупорядоченное мышление героя, его неумение мыслить ясно и логично.

Правило четвертое. Интонационно-синтаксические свойства речи помогают читателю увидеть в характере персонажа психологические особенности личности, характер его внутренних переживаний, особенности его мышления.

> Ответьте на вопрос: *О каких чертах характера персонажа говорят особенности речевой характеристики героя?*

Резкое изменение речи героя в зависимости от обстоятельств, которые открываются по ходу разговора, характер лексики, интонационно-синтаксическая выразительность его речи характеризуют Очумелова как хамелеона. Очумелов, грубый и невежественный человек, держит в страхе людей, которые зависимы от него или ниже его по социальному положению. В то же время он испытывает настоящий ужас при мысли, что может не угодить генералу. Он сменяет бесцеремонное и грубое отношение к окружающим на угодливость и заискивание перед людьми, обладающими властью и положением.

Таким образом, речь персонажа становится основным способом постижения, понимания особенностей его характера.

Правило пятое. Чтобы научиться понимать характер героя по его речи, следует ответить на вопрос: о каких чертах характера персонажа говорят нам особенности его речи?

В мастерской художника слова
Портрет в литературном произведении

Прежде чем говорить с вами о мастерстве портретных характеристик, я предлагаю вам познакомиться с прекрасным стихотворением Николая Алексеевича Заболоцкого.

Портрет

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

Как видите, стихотворение навеяно произведением живописи, и не каким-то неизвестным, а знаменитым портретом Струйской работы великого русского живописца XVIII столетия Федора Степановича Рокотова. Призыв Н. А. Заболоцкого «Любите живопись, поэты!»– это признание необходимости владеть тайнами портретных характеристик для любого вида искусства.

Вспомните «Портрет» Н. В. Гоголя и образ живописца, умевшего «души изменчивой приметы переносить на полотно». Только душа оказалась враждебной человеческому роду. Сравните описание глаз на портрете Струйской в стихотворении Н. А. Заболоцкого и описание взгляда ростовщика в «Портрете» Н. В. Гоголя. Ах, как нужно поэтам «любить живопись», чтобы не повторить ошибок гоголевского живописца.

Н. А. Заболоцкий отмечает и еще одну тайну портретного изображения: «Ее глаза– как два тумана, полуулыбка, полуплач…» Позвольте! Стихотворение называется «Портрет», а содержанием его оказываются лишь глаза! Вот тут-то и кроется различие литературного и живописного портретов. Живописец создает зримый портретный образ, цельный и завершенный. В нем могут быть более или менее значимые детали, но он целен. Писатель при всем своем желании не может словесными средствами создать такой образ, зримый облик которого был бы одинаков для всех читателей. Он вынужден идти другим путем:

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

А сейчас я предложу вам еще одно стихотворение:

Я помню вечер, бледно-скромный,
Цветы усталых георгин,
И детский взор, – он мне напомнил
Глаза египетских богинь.

Нет, я не знаю жизни смутной:
Горят огни, шумит толпа, —
В моих мечтах – твои минуты:
Твои мемфисские глаза.

Есть что-то похожее? Эти стихи написал в конце XIX века В. Я. Брюсов.

В жизни каждого человека встречаются лица, навсегда остающиеся в памяти. И писателю достаточно одной точной строкой, одной верной деталью пробудить скрытый образ, чтобы перед взором человека возник зримый и завершенный **портрет.**

Мы с вами вспомнили только три произведения (Н. В. Гоголя, В. Я. Брюсова, Н. А. Заболоцкого), обратили внимание только на

одну изобразительную деталь (глаза), а перед нами открылась тайна **портретной характеристики** в литературе. Да, задача писателя состоит в том, чтобы пробудить у читателя воспоминания и, превратив его в соавтора, помочь ему увидеть зримый образ.

«Любите живопись, поэты!..»

Сокровища книжных полок

Продолжить знакомство с мастерством русских писателей я предлагаю вам, прочитав автобиографические произведения Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество» и СТ. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Оба художника воссоздают события своего детства, описывают жизненные впечатления, оказавшие существенное влияние на становление их личности. Интересно, что в этих произведениях оценка происходящих событий дается с позиции постепенно взрослеющего ребенка.

Вам, я думаю, хочется продолжить знакомство с произведениями замечательных писателей Н. В. Гоголя и О. М. Сомова. Н. В. Гоголь в «Ночи перед Рождеством» создает прекрасный образ кузнеца Вакулы, волевого и набожного человека, оказавшегося находчивее самоуверенного, но глуповатого черта, которого он подчиняет себе и заставляет исполнять свою волю.

Сложные взаимоотношения добра и зла нашли воплощение в образной системе «народной сказки» О. М. Сомова «Оборотень». Здесь представлен особый мир, где есть место и колдуну Ермолаю, и его приемному сыну Артему, томимому неосознанным желанием проникнуть в тайну оборотня, и Акулине Тимофеевне, коренным образом изменившей жизнь односельчан. В этой новелле превосходно показана сила человеческой любви.

А. К. Толстой в «Упыре» также отдает дань всепобеждающей силе искреннего человеческого чувства. Именно оно помогает герою, Владимиру Руневскому, чуть-чуть приоткрывшему завесу запретного знания, вовремя остановиться.

Ф. М. Достоевский своей новелле «Кроткая» не случайно дает подзаголовок «фантастический рассказ». Его главные герои, в отличие от второстепенных, не имеют имен. Автор назвал их «я» и «она». Оба характера и их поступки вызывают одновременно и восхищение и ужас. Страшный грех совершает главный герой новеллы «Кроткая» по отношению к благородному и чистому созданию, неспособному примириться с ложью и лицемерием. Жизнь, уготованная им несчастной девушке за избавление от прежних мук, приводит ее сначала к бунту, а затем к гибели.

Трудно представить себе русский характер без удивительной теплоты и широты души, самобытного таланта и неразрывной связи с природой. Таковы созданные И. С. Тургеневым образы простых людей в «Записках охотника». Это Хорь и Калиныч из одноименного рассказа, Евграф Иванов, прозванный Обалдуем,

Могарыч, Яков Турок, Перевлесов, по прозвищу Дикий Барин, из рассказа «Певцы».

Русские писатели остро высмеивали пороки окружавшей их жизни. Едкой сатирой отличаются аллегорические сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина, направленные на изобличение глупости и никчемности высокопоставленных особ («Дикий помещик»), глупой псевдосамоотверженности («Самоотверженный заяц»). Предметом злой насмешки становится государственная система, когда чиновные олухи, занимая высокие посты, становятся жертвой собственной дурости («Медведь на воеводстве»). Возмущение и гнев вызывает саркастическое изображение покорности, долготерпения и смирения со своей участью угнетенного мужика («Коняга»).

Коротенькие новеллы другого замечательного русского писателя, А. П. Чехова, ничуть не уступают по силе своего воздействия сказкам М. Е. Салтыкова-Щедрина. Используя приемы комического, писатель сумел всего лишь на нескольких страницах поставить проблемы, способные задеть за живое каждого человека («Злоумышленник»). А. П. Чехов стремится пробудить в людях желание слышать чужую боль, отнестись к ней как к своей собственной. Ответственность за свои поступки и их последствия – вот, по мнению автора, ключ к решению большинства проблем («Страшная история»). А. П. Чехов-художник верен жизненному принципу «по капле выдавливать из себя раба», который находит блестящее воплощение и в творчестве писателя («Смерть чиновника»).

Подлинная романтика морских странствий, цельные характеры русских моряков – все это умел с любовью описать К. М. Станюкович. Новеллы «Человек за бортом!», «Беспокойный адмирал», «Нянька», «Два моряка» и другие познакомят вас со многими интересными характерами русских людей, несущих тяжелую морскую службу.

Мир и человек в русской литературе XX века

Октябрьская революция 1917 года не только изменила государственный строй в России, она поставила писателей перед лицом совершенно новой действительности, требовавшей нового художественного осмысления.

Многие прекрасные писатели, глубоко потрясенные братоубийственной Гражданской войной (И. А. Бунин, К. Д. Бальмонт, А. И. Куприн, И. С. Шмелев и др.), покинули страну и в эмиграции создали произведения, сохраняющие традиции русской классики XIX века.

Другие остались, чтобы вместе со своим народом вынести обрушившиеся на страну тяжелые испытания (А. А. Блок, В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилев и др.). Они тоже опирались в своем творчестве на национальные традиции классической литературы XIX века, надеясь силой слова пробудить в людях желание соответствовать высоким нравственным идеалам, утверждавшимся классической русской литературой.

Но революция пробудила и новые разрушительные силы. Сразу же после прихода к власти большевиков появляется теория «пролетарской культуры». Ее авторы требуют создания новой литературы рабочих, отвергающей буржуазные традиции «литературы класса угнетателей». Для пролеткультовцев даже М. Горький, первый русский пролетарский писатель, был всего лишь «попутчиком» революции.

И теоретики Пролеткульта и представители новой власти пытались взять под контроль творчество писателей, заставить их служить своим интересам.

Но вы уже хорошо знаете, что никогда никакая власть не

могла отменить законов искусства. Новые поколения талантливых писателей создавали великие произведения, в которых жила классическая национальная традиция, утверждались высокие нравственные принципы (М. А. Шолохов, А. П. Платонов, А. Т. Твардовский и др.).

К сожалению, покровительство высоких государственных чиновников позволило многочисленным малоталантливым или беспринципным авторам заполонить книжный рынок произведениями, весьма далекими от подлинного искусства: характерная черта литературы XX века– появление большого числа произведений «массовой культуры», которые имитируют настоящее искусство с целью получения максимальных прибылей и идеологической обработки масс. Запрет на публикацию произведений писателей-эмигрантов и репрессированных писателей нанес тяжелый удар в первую очередь по формированию литературного вкуса советских людей.

Еще одной чертой литературы XX столетия был поиск новых художественных форм для выражения быстро меняющихся реалий жизни. Так, в поэзии появляется учение о «самовитом слове» и создаются новаторские стихотворения В. Хлебникова и В. В. Маяковского, а на театральных подмостках ставятся интеллектуальные драмы М. Горького («На дне») и М. А. Булгакова («Дни Турбиных»); появляются замечательные произведения научной («Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстого, «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова) и философской («Огненный ангел» В. Я. Брюсова, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова) фантастики.

Россия – великая страна, и величие ее состоит в таланте, в творческих силах ее народа, поэтому даже в самые тяжелые годы (например, во время Великой Отечественной войны) русская литература продолжала развиваться, и у вас будет возможность в этом неоднократно убедиться.

Михаил Афанасьевич Булгаков

Русский писатель и драматург XX века создал целый ряд произведений, получивших мировую известность: пьесу «Дни Турбиных», романы «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита». Лучшие традиции А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя соединились в его творчестве с удивительным чувством языка и прекрасным знанием человеческой природы.

В новелле «Красная корона» отразились личные впечатления времен Гражданской войны, вызвавшей у М. А. Булгакова глубокий протест своей бесчеловечностью. Революцию и последовавшие за ней события писатель рассматривал как чудовищную трагедию русского народа. Именно поэтому он изображал их с точки зрения влияния на судьбу обычного человека, его личного счастья.

В «Красной короне» М. А. Булгаков показывает мучения человека с больной совестью. Обратите внимание, герой новеллы не только страдает от того, что не сдержал данного матери слова, не только винит себя в смерти младшего брата, он также берет на себя ответственность за смерть неизвестного ему повешенного. Писатель раскрывает характер больного и слабого человека. Но его слабость – это продолжение его силы: ведь он не желает смириться с жестокостью, душевной черствостью и безответственностью.

Подумайте, почему повествование ведется от первого лица и почему автор называет свою новеллу «историей болезни». Объясните значение фразы «я не могу оставить эскадрон». Отчего именно эту фразу вспоминает герой, именно она мучает его? Укажите основные художественные приемы, используемые для создания характера героя.

Красная корона (Historia morbi [175])

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером я заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора, № 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он

выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи.

Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью… Она его загнала на фонарь, а фонарь стал причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал:

– Господин генерал, вы – зверь! Не смейте вешать людей!

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди… Это отвратно.

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой крышей – огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки – страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина.

Старуха мать сказала мне:

– Я долго так не проживу. Я вижу: безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль:

– Найди его! Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это – безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять? Я молчал.

– Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он – мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

– Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо.

– Нет, ты поклянись, что привезешь его живым. Как можно дать такую клятву?

Но я, безумный человек, поклялся:

– Клянусь.

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему девятнадцать лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах у речонки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

– Коля! Коля! – Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве.

Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы.

– А, брат! – крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда – брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. – Стой. Стой здесь, – продолжал он, – у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все – безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

– Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда и навсегда.

– Что ты, брат?

– Молчи, – говорил я, – молчи. Я знаю. Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них – правый – то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями-клочьями.

Всадник – брат мой, в красной лохматой короне, сидел неподвижно на взмыленной лошади, и если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза…

Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

– Эх, вольноопределяющего[176] нашего… осколком. Санитар, зови доктора…

Другой охнул и ответил:

– С-с… Что ж, брат, доктора? Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор…

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне – значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

– Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами и говорит одно и то же. Честь. Затем:

– Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он вспугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике – убитый, а если убитый приходит и говорит – значит, я сошел с ума.

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста»[177] на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой:

– Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав: «Иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил мне говорить вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

– Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя – за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и не ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены, так же как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот, грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере двадцать седьмом. После снадобья я стал засыпать и

слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:

– Безнадежен.

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна – старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

– Я не могу оставить эскадрон. Да, я безнадежен. Он замучит меня.

Вопросы и задания

1. Почему М. А. Булгаков ведет повествование от первого лица?

2. Почему в своем рассказе герой постоянно обращается к «генералу»?

3. Какая мысль не может вместиться в мозг нормального человека и приводит его к безумию?

4. Против чего выступает в этой новелле М. А. Булгаков?

5. Как создается в новелле образ матери, какова ее композиционная роль в произведении?

6. Сопоставьте фабулу и сюжет этой новеллы.

Читательская лаборатория
Как научиться определять художественную роль интерьера

Вы уже знаете, что у писателя много способов характеристики героя: это и его имя, портрет, поступки, история жизни, его речь и др. Есть и еще один способ – интерьер, внутреннее убранство дома, в котором герой живет, мир вещей, который его окружает. Как научиться понимать их художественную функцию в литературном произведении?

Обратитесь к рассказу М. А. Булгакова «Красная корона». Найдите в тексте новеллы интерьер, описание комнаты из сна героя: «…Я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста» на нем».

> *Ответьте на вопросы: чей это дом? кто в нем живет?*

Единственно, что мы знаем совершенно точно: все это было «до проклятых дней». Значит, сон – воспоминание о довоенной, мирной, нормальной человеческой жизни.

> *В чем особенность описания комнаты? Насколько оно развернуто, подробно, полно? Назовите приметы мирной жизни из сна – те детали, по которым мы можем узнать о ее ценностях, радостях, о ее счастье – о счастье мирной жизни.*

«Старенькая мебель» и «кресло с треснувшей ножкой» – знак долгой жизни этого дома, жизни не одного поколения детей и взрослых. «Портрет на стене» – свидетельство памяти о близких, которую этот дом сохраняет и бережет, потому что в этом доме любят друг друга. «Цветы на подставках» – это жизнь, ее вечное торжество и ее красота. «Пианино раскрыто»: оно может зазвучать каждую минуту, и тогда мы услышим музыку как знак вечности жизни, потому что «Фауст» бессмертен.

Так каждая вещь интерьера в вашем объяснении становится символом счастливой человеческой жизни, а все вместе они создают обобщенный образ семьи, дома, мира.

Интерьер дома из сна героя – способ характеристики литературного персонажа. Мы узнаем о герое главное: что он

любит и о чем мечтает. Он любит простую человеческую жизнь с ее естественными радостями, встречей с братом, который «был жив и смеялся», брызгами «золотого снопа» света в гостиной. Оценка современной герою действительности с точки зрения его идеала становится причиной конфликта героя с внешним миром. Он не может принять безумия современной ему жизни: «Господин генерал, вы – зверь! Не смейте вешать людей!»

Интерьер дома из сна – это и один из способов создания художественного пространства в литературном произведении.

Какой мир открывается читателю через интерьер комнаты из сна? Насколько он объемен, широк, открыт?

Это мир ценностей не только одного человека, а всего человечества. Поэтому это мир общечеловеческих ценностей; любви, покоя и счастья. Через них (мир, красота, культура) герой связан со всем человечеством, его душой и духом. Так расширяется художественное пространство в новелле: от рассказа о жизни одного героя к рассказу о жизни человечества в его вечной устремленности к гармонии и красоте.

Сравните художественное пространство сна героя с художественным пространством его яви, реальности. Какая картина открывается из его окна, когда он «целыми днями напролет» лежит на кушетке? Найдите детали этого описания, которые тоже становятся символичными.

Для характеристики художественного пространства яви и реальности героя используется еще и другой способ – городской пейзаж, который тоже создается на основе художественных деталей: цвета и образа стены, «глухой и безоконной». Желтый и ржавый цвета пейзажа даны как антитеза золотому в интерьере. Свет интерьера гостиной – антитеза сумерек пейзажа. Глухая безоконная стена «повернулась ко мне». Герой в замкнутом и враждебном ему пространстве, он отчужден от пространства человечества не только собственным безумием, но и безумием современной ему реальности.

Охарактеризуйте психологическое состояние героя, которое в рассказе выражено словом «безумие». Какая деталь интерьера больницы (начало рассказа) характеризует психологическое состояние героя?

Деталь интерьера – комната «в самом конце коридора»

осознается читателем как характеристика состояния души героя – тупик.

Какие слова финала новеллы снова возвращают читателя к образу, созданному с помощью интерьера в начале рассказа?

Фельдшерица скажет: «Безнадежен». И герой согласится: «Да, я безнадежен». Герой никогда не смирится с безумием современного ему мира, не примет его жестокости. И в этом смысле он, конечно, безнадежен.

Таким образом, интерьер выполняет еще одну художественную роль – передает психологическое состояние героя, раскрывает его внутренний мир.

В произведении Н. В. Гоголя «Портрет» вы можете увидеть еще одну художественную функцию интерьера.

Сравните интерьер комнаты, в которой живет Чартков до покупки портрета, с интерьером «великолепной квартиры» после внезапного обогащения героя. Охарактеризуйте героя на разных этапах его жизни. Как помогает читателю в этом интерьер его комнат? Назовите предметные детали в описании мира вещей, окружающих героя.

На смену бедности («нестерпимо холодная», «узенький диванчик») приходит богатство (великолепие комнат, зеркала). Найденные вами детали – так называемые внешние. Они указывают на социальное положение героя, его положение в обществе.

Найдите детали интерьера, которые являются характеристикой внутреннего мира героя, состояния его души, его отношения к ценностям жизни.

Кроме того что комната поражает бедностью, она запоминается и «всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям». В этом описании названа главная деталь – «художеский хлам». Это то, что для обыкновенного человека представляется абсолютно бесполезным, но художнику жизненно необходимо: это знаки его творческой жизни.

Как изменяется комната героя, когда он начинает

писать портреты на потребу честолюбия и тщеславия богатых заказчиков?

«Дома у себя в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени…» Исчезает «художеский» беспорядок, воспринимаемый любителями искусства как проявление богатства творческой жизни. Не случайно дама, которая «была любительница живописи и обегала с лорнетом все галереи в Италии», так восхищается его ранними картинами: «Это очаровательно, Лиза, Лиза, подойди сюда: комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок…» Сопоставление разных интерьеров, сопровождающих жизнь одного героя в произведении, позволяет читателю увидеть изменения в характере литературного персонажа: отказ Чарткова от Божьего дара, таланта ради золота и славы.

Итак, чтобы научиться определять художественную роль интерьера в литературном произведении, необходимо:

1. **Найти описание внутреннего убранства дома, то есть интерьера.**
2. **Отметить предметные детали, с помощью которых изображается индивидуальность этого мира вещей.**
3. **Истолковать значение (конкретное, предметное или обобщенное, символическое) вещной детали интерьера.**
4. **Объяснить художественную роль интерьера.**

Дмитрий Борисович Кедрин

Русский поэт первой половины нашего столетия Д. Б. Кедрин известен вам своей балладой «Зодчие». Этого поэта всегда волновали образы безымянных тружеников, создающих величественные памятники человеческой культуры. В маленькой поэме «Пирамида» Д. Б. Кедрин называет имя египетского фараона (Сезострис), но не дает ни одного имени тех, кто создал по приказу царя его огромную усыпальницу. Это прием, позволяющий поэту создать коллективный образ древних зодчих.

Подумайте, можно ли здесь говорить о коллективном характере. Если да, то какие приемы использует автор для его создания? Как в поэме проявляется прием антитезы?

Пирамида

Когда болезнь, как мускусная крыса,
Что заползает ночью в камелек[178],
Изъела грудь и чрево Сезостриса —
Царь понял:
День кончины недалек!
Он продал дочь.
Каменотесам выдал
Запасы меди,
Леса,
Янтаря,
Чтоб те ему сложили пирамиду —
Жилье, во всем достойное царя.

Днем раскаляясь,
Ночью холодея,
Лежал Мемфис[179] на ложе из парчи,
И сотни тысяч пленных иудеев
Тесали плиты,
Клали кирпичи.
Они пришли покорные,
Без жалоб,
В шатрах верблюжьих жили,
Как пришлось;
У огнеглазых иудеек на́ лоб
Спадали кольца смоляных волос…

Оторваны от прялки и орала[180],
Палимы солнцем,
Брошены во тьму, —
Рабы царя…
Их сотни умирало,
Чтоб возвести могилу одному!
И вырос конус царственной гробницы
Сперва на четверть,
А потом на треть.
И, глядя вдаль сквозь длинные ресницы,
Ждал Сезострис —
И медлил умереть.

Когда ж ушли от гроба сорок тысяч,
Врубив орнамент на последний фриз[181],
Велел писцам слова гордыни высечь
Резцом на меди чванный Сезострис:
«Я,
Древний царь,
Воздвигши камни эти,
Сказал:
Покрыть словами их бока,
Чтоб тьмы людей,
Живущие на свете,
Хвалили труд мой
Долгие века!»

Вчерашний мир
Раздвинули скитальцы,
Упали царства,
Встали города.
Текли столетья,
Как песок сквозь пальцы,
Как сквозь ведро дырявое – вода.
Поникли сфинксы[182] каменными лбами.
Кружат орлы. В пустыне зной и тишь.
А время
Надпись выгрызло зубами,
Как ломтик сыра
Выгрызает мышь.

Слова,
Что были выбиты, как проба,

Давно молчат о царственных делах,
А прах царя,
Украденный из гроба,
В своей печи
Убогий сжег феллах[183].
И, мир пугая каменным величьем,
Среди сухих известняковых[184] груд
Стоит,
Побелена пометом птичьим,
Его гробница —
Безыменный труд.
А путник,
Ищущий воды и тени,
Лицо от солнца шлемом заслоня,
Пред ней,
В песке сыпучем по колени,
Осадит вдруг поджарого коня
И скажет:
– Царь!
Забыты в сонме прочих
Твои дела
И помыслы твои,
Но вечен труд
Твоих безвестных зодчих,
Трудолюбивых,
Словно муравьи!

Вопросы и задания

1. Как соотносятся жизнь и смерть в этом стихотворении?

2. Какой прием помогает соотнести прошлое и настоящее в стихотворении, что их объединяет?

3. Опишите характер фараона. Какие художественные средства использованы для его создания?

4. Охарактеризуйте жанр стихотворения, укажите его признаки.

5. Выпишите из стихотворения метафоры и сравнения.

Андрей Платонович Платонов

Имя этого русского писателя XX века вам уже знакомо. А. П. Платонов написал много разных произведений: сказок, новелл, романов. В них отразилась жизнь русского народа в начале нынешнего века. А когда началась Великая Отечественная война, писатель создал ряд произведений о людях, взваливших на свои плечи тяжкую ношу ответственности за свою Отчизну. В них на первый план выступают образы простых солдат.

«Иван Великий» – новелла, в которой война показана очень необычно. А. П. Платонов выбирает для описания день относительного затишья. Противоборство воюющих сторон проявляется в новелле не в артиллерийской дуэли, с которой начинается новелла, а в образе измученной лошади, оказавшейся на поле между траншеями воюющих сторон.

В этом произведении использован прием ретардации, на который я хочу обратить ваше внимание. **Ретардация** – это сюжетно-композиционный прием, применяемый в эпических жанрах для задержки развития действия, что позволяет оттянуть наступление кульминации или развязки; заключается он во введении лирических отступлений, вводных эпизодов, описаний (пейзаж, интерьер, портрет и пр.), композиционных повторов (однородные эпизоды, объяснения и т. п.).

Действие новеллы «Иван Великий» начинается утром, а заканчивается вечером. Утром перед глазами русских солдат появляется и лошадь. Но за целый день ничего вроде бы не происходит. Несколько раз повторяется унылый пейзаж, раз за разом дается «портрет» лошади и лишь однажды, вроде бы случайно, задается Ивану Владыко вопрос: «Что важное, что надо солдату знать?» И хотя сразу он на этот вопрос не отвечает, но именно этот вопрос и оказывается самым главным в понимании разницы между фашистскими солдатами и русскими воинами. А понять эту разницу помогает «русская лошадь». *Как вы думаете, какую роль играет она в этой новелле?*

> А. П. Платонов умеет показать сложные человеческие характеры. Приглядитесь к образу Ивана Владыко и скажите: *почему новелла названа «Иван Великий»?*

Иван Великий

Ранней весной, накануне света и тепла, бывают в природе

печальные дни, – они грустнее, чем осеннее время. Темная земля бывает уже обнажена для солнца, но солнце еще бессильно согреть ее сквозь серый холодный покров облаков, и земля прозябает в унылом терпении. В эти дни кажется, что весна и лето еще будут нескоро и до них не доживешь.

В такой именно скучный день над пустым весенним полем шел артиллерийский бой. Наша пехота безмолвно таилась в траншеях, отрытых еще немцами, когда они занимали этот рубеж.

Обычно враги обстреливают из пушек свои оставленные рубежи, понимая, что мы можем поселить своих солдат в траншеях, отрытых прежде фашистами. Но мы, понимая немцев, обычно не расселяем свои войска в траншеях, оставленных противником. А когда враги, проведав об этом, перестали обстреливать оставленные траншеи, считая их пустыми, мы начали иногда пользоваться ими.

Командир роты старший лейтенант Юхов наблюдал из-за укрытия работу огня. Темная, безродная в это время года земля вскрикивающим, не своим голосом отзывалась на ревущие удары пушек. Никого не было сейчас на земле меж нами и противником. Только редкая прошлогодняя былинка, уже окоченевшая в смерть, еще подрагивала от сотрясения воздуха, однако она уже была не жилица на свете. Но одно странное существо спокойно брело по той пустой, никем сейчас не обитаемой земле. Юхов всмотрелся в отдаление. По земле тихо шла маленькая серая русская лошадь. Над нею неслись пронизывающие воздух ноющие снаряды, и огонь разрывов блистал справа и слева от нее, а лошадь шла понемногу вперед по этому коридору войны. Старший лейтенант взял бинокль и подробно разглядел двигающуюся лошадь. Глаза ее были полузакрыты в утомленной дремоте, плечи и холка потерты и круп иссечен в полосы высохшей черной крови. Брюхо лошади впало внутрь от голода и работы, всосанное оставшимся тощим телом вместо еды, и весь скелет лошади словно уже прорастал наружу сквозь ее пораненную тягостной работой, истертую упряжью изрубцованную кожу. Уставшее предсмертной мукой животное брело меж пушек, бьющих встречным огнем поверх ее изнемогшего тела.

Один немецкий снаряд разорвался меж нашей передовой линией и одинокой лошадью. Лошадь припала на передние ноги и осталась на месте, готовая умереть.

К старшему лейтенанту Юхову подошел по ходу сообщения старшина Иван Гурьевич Петров.

– Скоро на дело пойдем, товарищ старший лейтенант? – спросил старшина Петров.

– Жду сигнала, старшина, – сказал командир. – Как у тебя

люди?

– Люди живут нормально, товарищ старший лейтенант… Это что же там, – фашисты нашу лошадь замучили в обозном котле, а теперь помирать ее бросили?

– Стало быть, так, старшина, – ответил Юхов. – Она ослабла, и немцы отпрягли ее при отступлении, а бывает, что и отпрягать некогда, тогда рубят постромки, лошадь падает, и ее затаптывают. Видал такое?

– Все видал, товарищ старший лейтенант, на войне живу, – произнес старшина. – Жалко скотину.

Пушечная стрельба стала замирать, но привычные к пальбе офицер и солдат уже и прежде не вслушивались в работу артиллерии и внимательно наблюдали за лошадью.

Сигнала к выступлению пехоты все еще не было, и Юхов решил, что наша артиллерия стреляла, может быть, для отвлечения противника, а немецкая только отвечала ей, – сам же наступательный бой назначен нашим командованием в другом месте.

Серая русская лошадь, припав на передние ноги, по-прежнему неподвижно находилась на промежуточном пустом пространстве. Но и задние ноги ее уже начали слабеть и тоже медленно сгибались, пока вся лошадь не прилегла к материнской поверхности земли. Голову свою лошадь покорно положила на передние согбенные ноги и смежила глаза.

День теперь ободнялся, стало светлее, чем было, и многие красноармейцы роты Юхова наблюдали из окопов за умирающей лошадью. Старые солдаты понимали, что особо остерегаться немцев тут нечего: у врага здесь был только артиллерийский заслон да жидкая пехота из старых возрастов – тут были те немецкие солдаты, которые уже оплакали своих погибших сыновей, а теперь сами пришли на место их и скучают по оставленным внукам. Но любой фашист, пока он не убит, считает себя до тех пор обиженным, пока весь свет еще не принадлежит ему и все добро мира он еще не снес в одно место, к себе во двор. Красноармейцы давно знали это природное свойство фашистов – жить лишь им одним на земле, убивая всех прочих людей, и потому красноармейцы были с неприятелем всегда осмотрительны.

И теперь они тоже лишь осторожно и изредка поглядывали на погибающую лошадь, хотя их крестьянское сердце болело по умирающей кормилице-работнице. Да и на войне лошадь тоже находится при деле, ей тоже есть тут своя обязанность: где ни одна машина не пройдет, там конь проберется рядом с солдатом. А когда скучно и трудно солдату, он поглядит в добрую морду

лошади, скажет ей: «И ты со мной терпишь? Давай вместе до победы», – и тогда легче станет солдату.

– Еще не вовсе старая скотина! – сказал боец Никита Вяхирев соседу Ивану Владыко. – От нее еще польза должна быть.

– Пожилая только, – ответил Иван Владыко, наблюдая изнемогающую лошадь. – Работать бы сполна можно на ней, если тело ей дать и ласку добавить – у лошадей сердце большое, они все чувствуют.

Ефрейтор Прохоров полагал, однако, иначе:

– Нету, с этой скотиной делать боле нечего – с ней забота не окупится. Если уж немцы ее бросили и шкуру с нее не содрали в пользу хозяйства, значит, уж загнали скотину до самых жил и жилы в ней посохли.

– Беда с фашистами, – сказал усатый красноармеец Свиридов, доброволец с начала войны. – Ишь как скотину работой выколотили, аж остья костей из нее наружу выпирают. Им что – лошадь же наша, русская…

– Им все нипочем, – сказал Иван Владыко. – Землю они порвали огнем, обгадили сквозь, молочных и стельных коров под нож и на закуску поели, пахотных тягловых коней по всем дорогам замертво положили. К спеху, под корень надо фашиста кончать, гной из него вон!

Солдаты умолкли и задумались, стоя на земле лицом к противнику, освещенные робким светом весеннего смутного неба. Лошадь умирала долго перед ними. Ее терпеливое рабочее сердце в одиночестве билось сейчас против смерти. И, поглядывая изредка в бинокль, старший лейтенант Юхов долго наблюдал, что лошадь еще живет и не умирает; иногда она приподнимала голову и затем вновь поникала ею, иногда дрожь страдания проходила по ее телу и она шевелила обессилевшими ногами, пытаясь подняться и вновь пойти по земле.

Сон долгой и вечной смерти медленно остужал все ее существо, но теплая сила жизни, сжимаясь, еще длилась в ней и стремилась в ответ гибели. Один раз лошадь вовсе приподнялась вполовину своего роста, но затем неохотно опустилась вновь. Она не хотела умирать, она хотела еще ходить по земле, чтобы пахать землю и тянуть военные повозки, утопая почти по грудь в тяжкой сырой земле. Она, должно быть, на все была согласна; она согласна была повторить всю свою трудную прожитую участь, лишь бы опять жить на свете. Она не понимала смерти.

Красноармейцы глядели на эту мученицу работы и войны и понимали ее судьбу.

– Не понимает, оттого и мучается, – сказал Свиридов. – И пахарем была, и на войне служила, и все ж не человек и не

солдат.

– Она душой не мучается, она только телом томится, – сказал Иван Владыко.

– Мучается, – подтвердил Свиридов, – потому что смерти боится, в ней сознания мало. А без сознания всякое дело страшно.

– Довольно тебе, – строго сказал старшина Петров. – Сколько там в ней сознания, мы не знаем, ты видишь – она кончается, а раньше землю в колхозе на нас пахала… А что нам полагается знать? А ну, кто скажет важное что-нибудь, что нужно солдату знать?

– Важное, товарищ старшина? – переспросил Владыко. – Нам тут коня стало жалко…

– Коня пожалели? – произнес старшина. – Верно жалеешь, солдат. Это наш конь и земля наша, повсюду тут наша Родина, жалей и береги ее, солдат… А что-то здесь птиц наших не слыхать – весна уж, а птиц нету?.. Чего-то я птиц не слышу!

– Дальше вперед уйдем, тогда позади нас в тишине и птицы объявятся, товарищ старшина, – сказал Никита Вяхирев. – А то мы огнем дюже шумим.

Иван Владыко знал важное в жизни солдата, самое важное в ней, потому что ему приходилось переживать и чувствовать это важное, но он не мог бы сказать сразу и ясно, что это такое. Он молча поглядел вперед. Лошадь лежала на поле, умолкшая и неподвижная.

Командир роты Юхов теперь уже и в бинокль не мог рассмотреть ни одного слабого движения ее жизни.

В вечерние сумерки Юхов позвал к себе старшину и Ивана Владыко. Он сказал им, что нужно было бы посмотреть ту лошадь поближе – она ведь не убита и только замерла от слабости; может быть, она еще жива, и тогда ее следует оттащить на нашу сторону, подстелив под ее тело рогожи и мешки, чтобы не вредить напрасно ее кожу о землю. А на нашей стороне ее можно будет выходить и определить в обоз батальона – пусть еще повоюет нам на помощь.

– Товарищ старший лейтенант, разрешите, я сперва один подберусь к тому коню, – попросил Иван Владыко. – Как завечереет вовсе, я к нему доползу и послушаю, есть ли в нем дыхание. Если дыхание в нем осталось, я тут же ворочусь и ребят на помощь возьму.

– Действуйте. Это лучше, – согласился Юхов.

Как ночь стемнела, Иван Владыко осмотрел автомат, взял гранату и пошел припадающей перебежкой к лежащей лошади.

Незадолго до нее он лег и пополз, потому что ему послышалось, что лошадь стонет, но он не поверил, что лошадь

еще так сильно жива, что может громко стонать, и стал остерегаться.

Во тьме, приблизившись к самому телу коня, Иван Владыко снова явственно расслышал его томящийся стон. Иван вслушался и различил долгое, трудное дыхание лошади и шепот человеческих голосов.

Иван взялся было за гранату, но раздумал ее метать: он побоялся вместе с неприятелем умертвить свою лошадь.

Желая точнее понять обстановку, Владыко осторожно приподнялся и увидел мгновенный свет впереди, ослепивший его. Над его телом, вновь приникшим к земле, пошли очередью долгие пули. Он вспомнил про атаку и рукопашный бой, что был третьего дня. Он шел тогда в цепи своего взвода, он видел, как пали замертво от его автомата два немца, а третьего он сразил вручную ложем своего оружия, находясь уже в тесноте навалившихся на него врагов. Он понял в тот час, что там и будет его смерть; однако в то время он почувствовал не страх или сожаление, но счастливое важное сознание своей жизни и спокойную правдивость на сердце. Иван Владыко вышел из того боя невредимым, навеки запомнил свое важное сознание солдата в то краткое смертное время сражения, хотя и не мог ясно рассказать о нем сегодня старшине.

Иван Владыко, выждав, пока прекратилась автоматная очередь, вскочил в рост с гранатой в руке и бросился вперед. Два темных врага встали против него из-за тела лошади. Они кратко без веры выстрелили во мрак, но Иван уже был подле них и с удовлетворенной яростью схватил одного противника за душу, за горло, под скулами, а в другого бросил гранату с неотпущенной чекой.

– Кидай оружие туда, в ночь! – приказал Иван противникам, но они не поняли его, и тогда Иван сам отобрал и бросил их автоматы прочь во тьму.

– Иван, – тихо сказал один немец.

Иван Владыко знал, что немцы всех красноармейцев называют Иванами и вся Красная Армия для них один великий Иван.

– Я Иван Владыко! – ответил он пленникам. – Сидите пока что смирно.

– Иван Великий, – произнес немец неправильно фамилию.

Владыко склонился к морде коня и послушал у его ноздрей, дышит ли он еще или уже скончался. Слабое редкое тепло исходило из его ноздрей, он еще был при жизни.

– Выходим его обратно, – решил Владыко.

Затем он повел руками по шерсти лошади и присмотрелся к

ней. Глаза его уже привыкли к ночи, и он видел ими. В одном месте, на шее, шкура лошади была надрезана и завернута наружу, и тощая сухая кровь непрерывно сочилась оттуда. Владыко понял, что враги начали драть коня на шкуру и оттого конь застонал, чувствуя жизнь от боли.

– Зачем же вы коня живого драть начали? – сказал Владыко немцам. – Везде вы свою пользу ищете. Глядите, как бы убытка вам кругом не нажить…

Сигнальная ракета засветилась над русским рубежом, и безмолвная пехота пошла цепями вперед.

– Наша атака, – помнил Иван Владыко. – Теперь коня тревожить не надо, он сейчас будет на нашей стороне. Мы его выходим помаленьку, а после войны, жив будет, на подсобную работу в крестьянство пойдет. Ничего, все будет нормально, мы все тогда отдышимся…

Иван Владыко прислонился щекою к шее коня и почувствовал, что в нем есть еще неостывшая глубокая теплота.

Немцы осторожно тронули красноармейца за рукав; Иван Великий обернулся к ним и увидел, что они дают ему два ножа, которыми они хотели ободрать живую лошадь.

«Воины! – подумал Владыко, спрятав трофейные ножи за голенище. – Двумя ножами меня сразить не могли. Хотя им что ж: смысла нету! А без смысла на войне нельзя».

Вопросы и задания

1. Что скрывается за неправильно произнесенной фамилией главного героя (Великий)?

2. Как характеризует Ивана Владыко нежелание метнуть гранату?

3. Зачем в новеллу вводится воспоминание о предыдущем бое?

4. Как в отношении к лошади проявляется противоречие между воюющими сторонами?

5. Какие художественные средства использует А. П. Платонов для создания характера красноармейца?

6. Ответьте на главный вопрос новеллы: «Что же все-таки нужно знать солдату?»

Николай Алексеевич Заболоцкий

Прекрасная национальная традиция русской лирики, заложенная поэтами XVIII века, никогда не прерывалась, хотя в истории русской поэзии были и свои взлеты, и периоды относительного затишья. Трудно представить себе, что стало бы с современной поэзией, если бы во все времена не находились люди, сохранявшие и приумножавшие богатство нашей лирической традиции.

Н. А. Заболоцкий как раз был одним из тех замечательных поэтов, которых отличали высокая требовательность к самому себе, высочайшее поэтическое мастерство, основанное на любви и знании русской лирики XVIII–XIX веков, на виртуозном владении техникой стиха. И конечно же, он был очень талантлив. Думаю, что вы уже прочитали одухотворенное поэтическое переложение «Слова о полку Игореве», принадлежащее Н. А. Заболоцкому, а также помните его стихотворение «Портрет», о котором мы с вами рассуждали совсем недавно. Уверен, что вам доставит удовольствие знакомство с еще одним поэтическим шедевром Н. А. Заболоцкого – стихотворением «В этой роще березовой…».

У этого стихотворения несколько планов. Это и воспоминание о детстве, связанное с ощущением красоты и раздолья русской земли (проследите, как поэт создает трогательный пейзаж, с которого начинается это стихотворение). Это и гневный протест против ужасов войны, заставляющих умолкнуть иволгу. Это и высочайшей пробы патриотизм, превращающий в счастье смерть за свободу и счастье Отчизны («И тогда в моем сердце разорванном голос твой запоет»).

Но кроме всего прочего, это глубокое философское размышление о единстве человека с родной землей и о смысле человеческой жизни.

Перечитайте это стихотворение и задумайтесь: что символизирует в нем образ иволги? Попробуйте дать характеристику лирическому герою этого произведения, отметив поэтические средства выражения его характера.

В этой роще березовой…
В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною

Льются листья с высоких ветвей, —
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.
Пролетев над поляною
И людей увидав с высоты,
Избрала деревянную
Неприметную дудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человечье жилье,
Целомудренно бедной заутреней
Встретить утро мое.

Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг.
Где ж ты, иволга, леса отшельница?
Что ты смолкла, мой друг?

Окруженная взрывами,
Над рекой, где чернеет камыш,
Ты летишь над обрывами,
Над руинами смерти летишь.
Молчаливая странница,
Ты меня провожаешь на бой,
И смертельное облако тянется
Над твоей головой.

За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет.
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоет.
И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка, —

Встанет утро победы торжественной
На века.

Вопросы и задания

1. Определите тему стихотворения.

2. Как в этом стихотворении создается образ войны?

3. Охарактеризуйте образ лирического героя.

4. Какие художественные средства используются для создания лирического настроения?

5. Составьте ритмическую схему первой строфы.

Евгений Иванович Носов

Предлагая вам произведение уже знакомого вам писателя Е. И. Носова «Малая родина», я в первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что в нем очень неожиданно сочетаются эпический и лирический элементы. Такое сочетание до сих пор вы встречали, я думаю, только в балладе. *В самом деле, что важнее в этом очерке: описание места, где протекало детство персонажа-автора, или светлое чувство слитности с родной землей, окрашенное легкой печалью о прошедшей юности?*

Очерк Е. И. Носова замечателен еще и тем, что, описывая чувство малой родины, автор одновременно рассказывает и о том, как зарождается это чувство, от чего зависит его формирование и его осознанность человеком.

> *Задумайтесь: можете ли вы определить, что заключает в себе понятие «малая родина»?*

Есть у произведения этого и своя загадка. Как ни поверни, а ведь оно – своеобразное зеркало, показывающее автору его прошлое. Видя картины малой родины, повествователь видит и самого себя, но не писателем, а мальчишкой, открывающим для себя красоту окружающего мира.

> *Вот и попытайтесь описать характеры повествователя – в настоящем и прошлом. Что в них общего и чем они отличаются?*

Малая родина

Вот пишут: малая родина… Что же это такое? Где ее границы? Откуда и докуда она простирается?

По-моему, малая родина – это окоем нашего детства. Иными словами, то, что способно объять мальчишеское око. И что жаждет вместить в себя чистая, распахнутая душа. Где эта душа впервые удивилась, обрадовалась и возликовала от нахлынувшего восторга. И где впервые огорчилась, разгневалась или пережила свое первое потрясение.

Тихая деревенская улица, пахнущий пряниками и кожаной обувью тесный магазинчик, машинный двор за околицей, куда заманчиво пробраться, тайком посидеть в кабине еще не остывшего трактора, потрогать рычаги и кнопки, блаженно повдыхать запах наработавшегося мотора; туманное таинство

сбегающего под гору колхозного сада, в сумерках которого предостерегающе постукивает деревянная колотушка, гремит тяжелой цепью рыжий репьистый пес. За садом – змеистые зигзаги старых, почти изгладившихся траншей, поросших терновником и лещиной, которые, однако, и поныне заставляют примолкнуть, говорить вполголоса… И вдруг, снова воротясь к прежнему, шумно, наперегонки умчаться в зовущий простор луга с блестками озерков и полузаросших стариц, где, раздевшись донага и взбаламутив воду, майкой начерпать в этом черном киселе чумазых карасей пополам с пиявками и плавунцами.

И вот, наконец, речушка, петлявая, увертливая, не терпящая открытых мест и норовящая улизнуть в лозняки, в корявую и петлючую неразбериху. И если не жалеть рубах и штанов, то можно продраться к старой мельнице с давно разбитой плотиной и обвалившейся кровлей, где сквозь обветшалые мостки и пустые проемы буйно бьет вольный кипрей. Здесь тоже не принято говорить громко: ходит молва, будто и теперь еще в омуте обретается мельничный водяной, ветхий, обомшелый, и будто бы кто-то слыхал, как он кряхтел и отдувался в кустах, тужась столкнуть в омут теперь уже никому не нужный жернов. Как же не пробраться туда и не посмотреть, страшась и озираясь, лежит ли тот камень или уже нет его…

За рекой – соседняя деревня, и забредать за реку не полагается: это уже иной, запредельный мир. Там обитают свои вихрастые окоемщики, на глаза которых поодиночке лучше не попадаться…

Вот, собственно, и вся мальчишеская вселенная. Но и того невеликого обиталища хватает с лихвой, чтобы за день, пока не падет солнце, набегаться, наоткрывать и навпечатляться до того предела, когда уже за ужином безвольно начнет клониться опаленная солнцем и вытрепанная ветром буйная молодецкая головушка, и мать подхватывает и несет исцарапанное, пахнущее рогозом и подмаренником, отрешенное, обмякшее чадо к постели, как с поля боя уносит павшего сестра милосердия.

И видится ему сон, будто взбирается он на самое высокое дерево, с обмирающим сердцем добирается до вершинных ветвей, опасно и жутко раскачиваемых ветром, чтобы посмотреть: а что же там дальше, где он еще не бывал? И вдруг что-то ломко хрустит, и он с остановившимся дыханием кубарем рушится вниз. Но, как бывает только во снах, в самый последний момент как-то так удачно расставляет руки, подобно крыльям, ветер упруго подхватывает его, и вот уже летит, летит, плавно и завораживающе набирая высоту и замирая от неописуемого восторга.

Малая родина – это то, что на всю жизнь одаривает нас крыльями вдохновения.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте жанр произведения и назовите его признаки.

2. Объясните смысл названия произведения. Что называется «малой родиной»?

3. Почему автор связывает понятие малой родины с детством?

4. Укажите особенности пейзажа в этом произведении.

5. Опишите свою малую родину.

Валентин Григорьевич Распутин

Валентин Распутин – современный русский писатель, получивший мировую известность после выхода в свет романа «Живи и помни». Он один из немногих современных писателей, глубоко народных по происхождению и по духу, продолжатель лучших традиций русской классической литературы, поднимающий в своих произведениях важные социально-нравственные проблемы. В. Г. Распутин прекрасно чувствует тончайшие оттенки языка, и это позволяет ему создавать полные и сочные картины подлинно народной жизни. Кроме того, это очень честный и подчас даже суровый писатель, но ему присущ и удивительный оптимизм. Какой тяжелой ни была бы утрата, каким неутешным ни было бы горе, постигшее персонажей его произведений, писатель оставляет веру и надежду читателю в духовное и нравственное возрождение человека.

Вам предлагается прочитать одну из лучших новелл писателя – «Уроки французского». В новелле поставлены проблемы человеческих взаимоотношений. Перед читателем предстают картины трудной, голодной послевоенной жизни в городе.

Новелла состоит как бы из трех отдельных рассказов, каждый из которых имеет свою композицию. Причем элементы композиции каждого последующего рассказа усложняются и синтезируются. Объединяющим началом новеллы является образ повествователя. Есть в новелле и основной главный конфликт, придающий произведению цельность. Разрешение же основного конфликта, возникающего из столкновения мира взрослых и мира детей, требует достаточно длительного времени, чтобы человек, преодолевая трудности, превозмогая обиду и душевную боль, сумел воспитать в себе человеческое, научился понимать и прощать других людей, нашел свое место в жизни.

В новелле «Уроки французского» Распутин создал целую галерею ярких самобытных характеров.

> *Попытайтесь определить суть их взаимоотношений и сказать, чем они обусловлены. Внимательно проследите за тем, как мальчик постигает сложную науку «понимания» людей.* Очень важен в произведении характер учительницы. *Что заставляет ее искать пути к сердцу ученика? И наконец, в чем заключается суть основного конфликта? Как вы полагаете, каков смысл названия новеллы?*

Уроки французского

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, – нет, а за то, что сталось с нами после.

* * *

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать: поехал; у нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь.

Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса и ржи, чтобы развести посадки в животе, – тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. Впрочем, я думаю, что затея эта не совсем бесполезная и человеку когда-нибудь еще пригодится, а мы по неопытности что-то там делали неверно.

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет – некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удовольствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. Но особенно в меня верили, когда дело касалось облигаций[185]. Их за войну у людей скопилось много, таблицы выигрышей приходили часто, и тогда облигации несли ко мне. Считалось, что у меня счастливый глаз. Выигрыши и правда случались, чаще всего мелкие, но колхозник в те годы рад был любой копейке, а тут из моих рук сваливалась и совсем нечаянная удача. Радость от нее невольно перепадала и

мне. Меня выделяли из деревенской ребятни, даже подкармливали; однажды дядя Илья, в общем-то скупой, прижимистый старик, выиграв четыреста рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки – под весну это было немалое богатство.

И все потому же, что я разбирался в номерах облигаций, матери говорили:

– Башковитый у тебя парень растет. Ты это… давай учи его. Грамота зря не пропадет.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? – затем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить – я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать, там меня тормошили ребята, вместе с ними – хочешь не хочешь – приходилось двигаться, играть, а на уроках – работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска – тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с ревом погнался за машиной.

Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и ее, – я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину.

– Собирайся, – потребовала она, когда я подошел. – Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же еще я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут – кажется много, хватишься через два дня – пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил – так и есть: был – нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал – тетя Надя ли, крикливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из ее старших девчонок, или младший, Федька, – я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков – от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил – что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой все равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку.

* * *

Однажды, еще в сентябре, Федька спросил у меня:

– Ты в «чику» играть не боишься?

– В какую «чику»? – не понял я.

– Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем.

– Нету.

– И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово.

Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного – рослого и крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

– Этого еще зачем привел? – недовольно сказал он Федьке.

– Он свой, Вадик, свой, – стал оправдываться Федька. – Он у нас живет.

– Играть будешь? – спросил меня Вадик.

– Денег нету.

– Гляди не вякни кому, что мы здесь.

– Вот еще! – обиделся я.

Больше на меня не обращали внимания, я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все – то шестеро, то семеро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выкладывал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх опускали на площадку, ограниченную жирной чертой метрах в двух от кассы, а с другой стороны, от валуна, вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, бросали круглую каменную шайбу. Бросать ее надо было с тем расчетом, чтобы она как можно ближе подкатилась к черте, но не вышла за нее, – тогда ты получал право первым разбивать кассу. Били всё той же шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул – твоя, бей дальше, нет – отдай это право следующему. Но важней всего считалось еще при броске накрыть шайбой монеты, и если хоть одна из них оказывалась на орле, вся касса без разговоров переходила в твой карман, и игра начиналась снова.

Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами и он видел, куда

бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, прищурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно выпрямлялся – шайба выскальзывала из его руки и летела туда, куда он метил. Быстрым движением головы он забрасывал съехавшую челку наверх, небрежно сплевывал в сторону, показывая, что дело сделано, и ленивым, нарочито замедленным шагом ступал к деньгам. Если они были в куче, бил резко, со звоном, одиночные же монетки трогал шайбой осторожно, с накатиком, чтобы монетка не билась и не крутилась в воздухе, а, не поднимаясь высоко, всего лишь переваливалась на другую сторону. Никто больше так не умел. Ребята лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата – десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка у меня была. Не было денег.

Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письмо по пятерке – на молоко. На теперешние – это пятьдесят копеек, не разживешься, но все равно деньги, на них на базаре можно было купить пять пол-литровых баночек молока, по рублю за баночку. Молоко мне наказано пить от малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятерку в третий раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился за свалку. Место здесь было выбрано с толком, ничего не скажешь: полянка, замкнутая холмами, ниоткуда не просматривалась. В селе, на виду у взрослых, за такие игры гоняли, грозили директором и милицией. Тут нам никто не мешал. И недалеко, за десять минут добежишь.

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй – шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре, рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно, глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался

сюда, доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из десяти бросков три или четыре угадывали точно на деньги.

И наконец наступил день, когда я остался в выигрыше.

Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке, дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то из непогодья слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горьковатый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до этого не встречал, но, забегая вперед, скажу, что в третьей четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает – все равно тянет. Вызовут – молчит.

– Что ж ты руку поднимал? – спрашивают Тишкина. Он шлепал своими глазенками:

– Я помнил, а пока вставал, забыл.

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное – от дикой тоски по дому, не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества; один – потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет: не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар; когда много играющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по монетам, но и тут я пользовался своим приемом: если Вадик бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя – так было непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока (тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали), обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался внакладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

– Ты что это – загреб кассу и драть? Ишь шустрый какой! Играй.

– Мне уроки надо, Вадик, делать, – стал отговариваться я.

– Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит. А Птаха подпел:

– Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял?

Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней, а я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще

не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад!», чтобы– если не окажется орла– собрать для удара деньги в одну кучу, но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул.

– Не в склад! – объявил Вадик.

Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, – иначе он не стал бы ее закрывать.

– Ты перевернул ее, – сказал я. – Она была на орле, я видел.

Он сунул мне под нос кулак.

– А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.

Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно; если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведет, – решил я. – Все равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно поддал мне сзади коленом, и я неловко, склоненный вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха, я опешил:

– Чего-о ты?!

– Кто тебе сказал, что это я? – отперся он. – Приснилось, что ли?

– Давай сюда! – Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх, ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал?

– Давай сюда! – потребовал Вадик.

– Ты перевернул ту монетку! – крикнул я ему. – Я видел, что перевернул. Видел.

– Ну-ка повтори, – надвигаясь на меня, попросил он.

– Ты перевернул ее, – уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.

Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня

головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивал одно и то же:

– Перевернул! Перевернул! Перевернул!

Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.

– Иди отсюда, пока живой! – скомандовал Вадик. – Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвевшим носом, поплелся в гору.

– Только вякни кому – убьем! – пообещал мне вслед Вадик.

Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал что было мочи – так что слышал, наверное, весь поселок:

– Переверну-у-ул!

За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся – видно, Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова началась игра, затем спустился по другой стороне холма к ложбинке, затянутой вокруг черной крапивой, упал на жесткую сухую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всем белом свете человека несчастнее меня.

* * *

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего, и если бы не привычное место, ни за что не догадаешься, что это нос, но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя; сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и

опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

– Ну вот, – сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. – Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косили и смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.

– И что случилось? – спросила она.

– Упал, – брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.

– Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?

– Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.

– Хи, упал! – выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. – Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что – совсем ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги у нас в два счета могли выгнать из школы. Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело: пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин. Вот Тишкин так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность – нечего сказать.

– Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, – не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. – Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать. – Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне: – После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил, – разбил окно, подрался или курил в уборной: «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застегнутый, оттопыривающийся темный френч двигается

самостоятельно чуть поперед директора, и подгонял: «Отвечай, отвечай. Мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь». Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его: «Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Как был задан вопрос?» – «Что меня побудило?» – «Вот именно: что побудило? Слушаем тебя».

Дело обычно заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать, но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича.

Однажды первый урок у нас начался с опозданием на десять минут, и все это время директор допрашивал одного девятиклассника, но, так и не добившись от него ничего вразумительного, увел к себе в кабинет.

А что, интересно, скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут же, словно обжегшись, испугался: нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело – если бы я сам бросил школу… Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел, а тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык, но так домой ехать нельзя.

После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой, подальше от нее, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

– Это правда, что ты играешь на деньги? – сразу начала она. Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом, и я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было, Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

– Правда.

– Ну и как – выигрываешь или проигрываешь? Я замялся, не зная, что лучше.

– Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?

– Вы… выигрываю.

– Хорошо хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?

В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и потому звучал он вволюшку, а у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от

бессилия вовсе – она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить все на французский язык: конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке, жди теперь, когда он опять разойдется и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным, но от вопросов ее все равно было не уйти.

– Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

– Нет, не много. Я только рубль выигрываю.

– И больше не играешь?

– Нет.

– А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?

– Покупаю молоко.

– Молоко?

Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание; к тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки[186] марких светло-зеленых штанах со следами вчерашней драки. Я еще раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

– И все-таки на деньги играть не надо, – задумчиво сказала Лидия Михайловна. – Обошелся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал:

– Можно.

Я говорил искренне, но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись, как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно, сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры. И только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль – уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал.

Я подошел, и игра сама собой приостановилась, все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвернутыми ушами, сидящей, как и все на нем, беззаботно и смело, в клетчатой, навыпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:

– Чего пришел? Давно не били?

– Играть пришел, – как можно спокойней ответил я, глядя на Вадика.

– Кто тебе сказал, что с тобой, – Птаха выругался, – будут тут играть?

– Никто.

– Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?

– Чего ты пристал к человеку, Птаха? – щурясь на меня, сказал Вадик. – Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

– У вас нет по десять рублей, – только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.

– У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

– Дать ему, Вадик?

– Не надо, пусть играет. – Вадик подмигнул ребятам. – Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся.

Теперь я был ученый и понимал, что это такое – доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади Птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле; копеек двадцать – тридцать, на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего.

– Хватит, ой, хватит! – испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. – Да что же это такое?! Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

* * *

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Ну зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук, то же «о», например, в слове «веаисоир» (много), которым можно подавиться? Зачем с каким-то пристоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался по́том, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они гуляли на свободе, делали что хотели, а я как проклятый отдувался один за всех.

Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился – меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других.

Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем – редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем

платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме, все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным, даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны, и от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишко.

Лидии Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того; я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку, глазами; тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем черные, коротко остриженные волосы. Но при всем этом не было видно в ее лице жестокости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре, а было какое-то осторожное, с хитринкой, недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее: интересно, как я здесь очутилась и что я здесь делаю? Теперь я думаю, что она к тому времени успела побывать замужем; по голосу, по походке – мягкой, но уверенной, свободной, по всему ее поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким.

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной, – настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, непохожим на всех остальных.

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз, затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя

Ваня, конечно, наш шофер, – какой еще мужик! Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог – вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился: почему в ящичке? – мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня – чтобы не перепутали для кого. Что это мать выдумала заколачивать продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся. Макароны… Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахару и две плитки гематогена[187]. Гематоген подтвердил: посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я еще раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия – мне. Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет,

бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол – получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала:

– Что это? Что такое ты принес? Зачем?

– Это вы сделали, – сказал я дрожащим, срывающимся голосом.

– Что я сделала? О чем ты?

– Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.

Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает.

– Почему ты решил, что это я?

– Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогену не бывает.

– Как! Совсем не бывает?! – Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.

– Совсем не бывает. Знать надо было.

Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее.

– Действительно, надо было знать… Как же это я так?! – Она на минутку задумалась. – Но тут и догадаться трудно было – честное слово! Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?

– Горох бывает. Редька бывает.

– Горох… редька… А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок! Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. – Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. – Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми…

– Не возьму, – перебил я ее.

– Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь мне одной… Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

– Я совсем не голодаю.

– Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и

сваришь себе сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь – единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще; я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.

* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.

– Хорошо, – подбадривала меня Лидия Михайловна. – В этой четверти пятерка не получится, а в следующей – обязательно.

О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался настороже. Мало ли что Лидия Михайловна возьмется еще придумать? Я по себе знал: когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло, так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью, – я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и угнетенность отступали, теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры.

Она сделала еще попытку посадить меня за стол – напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых.

Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала

до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне, а она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие: не получалось – получится, и получится – не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне… Я бы сам, сам…

Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

– Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?

– Как же сейчас играть?! – удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.

– А что это была за игра? В чем она заключается?

– Зачем вам? – насторожился я.

– Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.

Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.

– Нет. – Лидия Михайловна покачала головой. – Мы играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Вот смотри. – Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. – Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену. – Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. – Теперь, – Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку, – бьешь ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется: «замеряшки». Достанешь – значит, выиграл. Бей.

Я ударил – моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.

– О-о, – махнула рукой Лидия Михайловна. – Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, – я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

– Чего тут непонятного?

– Сыграем?

Я не поверил своим ушам:

– Как же я с вами буду играть?

– А что такое?

– Вы же учительница!

– Ну и что? Учительница – так другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя: то нельзя, это нельзя. – Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. – Иной раз полезно забыть, что ты учительница, – не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное – не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому. – Она встряхнулась и сразу повеселела. – А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в «замеряшки».

– Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только мне показали.

– Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошку. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее. Светопреставление – не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

– Ну что – попробуем? Не понравится – бросим.

– Давайте, – нерешительно согласился я.

– Начинай.

Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре, я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену – ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую; если бы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих «замеряшках» не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и нелегко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее.

– Нет, так неинтересно, – сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. – Играть – так по-настоящему, а то что мы с тобой как трехлетние малыши?

– Но тогда это будет игра на деньги, – несмело напомнил я.

– Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а все равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.

– Неужели боишься? – подзадорила меня Лидия Михайловна.

– Вот еще! Ничего я не боюсь.

У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что – не я первый начал. Вадик попервости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу.

Мне пришлось принять одно условие: поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился.

Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимаясь на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно: вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня – одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даже хотелось порой на нее прикрикнуть. Но выигрывала тем не менее она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало восемьдесят копеек, с большим трудом мне удалось скостить этот долг до тридцати, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до пятидесяти. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но, если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя – не то позор, позор и стыд на всю жизнь.

И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, – там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся.

– Нет, – заявил я, – так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно.

– Но я действительно не могу их достать, – стала отказываться она. – У меня пальцы какие-то деревянные.

– Можете.

– Хорошо, хорошо, я буду стараться.

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство – от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она как ни в чем не бывало продолжала двигать монету.

– Что вы делаете? – возмутился я.

– Я? А что я делаю?

– Зачем вы ее подвинули?

– Да нет же, она тут и лежала, – самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи.

Вот это да! Учительница, называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется.

В этот день мы занимались французским минут пятнадцать – двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к «замеряшкам», разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко – теперь уже в мороженых кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остаткам позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба.

Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим

раны войны, для всех обещали счастливое время.

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня.

Знать бы нам, чем это все кончится…

…Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили.

– Пойми ты, голова садовая, – наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, – зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

– «Чика» несчитово.

– Почему это несчитово?

Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать, пораженный, но твердый, звенящий голос:

– Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?

Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала:

– Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда.

– Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? – объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

– Играем в «пристенок», – спокойно ответила Лидия Михайловна.

– Вы играете на деньги с этим?.. – Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. – Играете с учеником?! Я правильно вас понял?

– Правильно.

– Ну, знаете… – Директор задыхался, ему не хватало воздуха. – Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление. Растление. Совращение. И еще, еще… Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, но такое…

И он воздел над головой руки.

* * *

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она

встретила меня после школы и проводила до дому.

– Поеду к себе на Кубань, – сказала она, прощаясь. – А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись. – Она потрепала меня по голове и ушла.

И больше я ее никогда не видел.

Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, – аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке я нашел три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.

Вопросы и задания

1. Как главный герой оказался в райцентре?

2. С какими трудностями сталкивается герой в райцентре?

3. В чем суть конфликта героя с Вадиком?

4. Почему герой возвращает посылку Лидии Михайловне, как это его характеризует?

5. Опишите характер главного героя.

6. Какие главные уроки получает герой в райцентре?

7. Опишите характер Тишкина.

8. Как используется в новелле прием антитезы?

9. Прав ли был директор, обвинив Лидию Михайловну?10. Напишите сочинение на тему: «Мой главный урок».

Федор Александрович Абрамов

В 60-е годы XX столетия в статьях литературных критиков замелькало непривычное словосочетание «писатели-деревенщики». Так называли группу молодых писателей, в своем творчестве обратившихся к сложным проблемам сельской жизни, первыми забивших тревогу, видя постепенное разрушение и умирание русской деревни. Это были очень талантливые и очень честные художники. С тех пор прошло немало времени, но они остались верны и избранной теме, и привычке говорить своим читателям правду, какой бы суровой она ни была.

Но главное достижение «деревенской прозы» – это характер современного русского крестьянина, сумевшего сохранить чувство родной земли и ведущего постоянную борьбу с теми, кто привык только брать у природы, ничего не давая ей взамен.

Ф. А. Абрамов написал немало интересных произведений о жизни современной русской деревни. Среди них есть совсем короткие новеллы-миниатюры, каждая из которых посвящена раскрытию какого-то одного характера. Писатель изображает самых обычных людей в довольно обыденных ситуациях. Его задача – показать широту и богатство души людей незаметных, но удивительно красивых, ярких. Ф. А. Абрамов умеет найти неожиданный угол зрения на своих героев, умеет выбрать эпизод, в котором, как в капле воды, проявляется все самое лучшее, чем обладает человек.

Читая новеллу «Золотые руки», обратите внимание на то, чем отличаются, а в чем сходны характеры председателя колхоза и телятницы.

Отметьте художественные приемы, которые использует писатель, давая характеристику Марии.

А вот в новелле «Когда делаешь по совести» писатель показал очень серьезный конфликт. Здесь изображен именно героический характер.

Скажите, в чем героизм Стрельникова и почему он решается на свой отчаянный поступок. Как Ф. А. Абрамов изображает характер ветврача?

Золотые руки

В контору влетела как ветер, без солнца солнцем осветило.

– Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?

– А как же телята? С телятами-то кто останется?

– Маму с пенсии отзову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит.

Тут председатель колхоза, еще каких-то полминуты назад считавший себя заживо погребенным (некем подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя: пять лет без выходных ломит!), радостно заулюлюкал:

– Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха подальше садись, а то чего доброго с невестой перепутает.

Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь, и ростом не очень вышла, но веселья, но задора – на семерых. И работница… За свои сорок пять лет такой не видывал. Три бабенки до нее топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань – семейные. И все равно телята дохли. А эта пришла – еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день: «Проваливайте! Одна справлюсь». И как почала-почала шуровать, такую революцию устроила – на телятник стало любо зайти.

Мария вернулась через три дня. Мрачная. С накрепко поджатыми губами.

– Да ты что, – попробовал пошутить председатель, – перепила на свадьбе?

– Не была я на свадьбе, – отрезала Мария и вдруг с яростью, со злостью выбросила на стол свои руки: – Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди посмеялись?

Председатель ничего не понимал.

– Да чего не понимать-то? Зашла на аэродроме в городе в ресторан – перекусить чего, думаю, два часа еще самолет на Мурманск ждать, ну и пристроилась к одному столику – полно народу: два франта да эдакая фраля[188] накрашенная. Смотрю, а она и есть перестала. – И тут Мария опять сорвалась на крик: – Грабли мои не понравились! Все растрескались, все красные, как сучья, – да с чего же им понравятся?

– Мария, Мария…

– Все! Наробилась[189] больше. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наводить, маникюры… Заведу, как у этой кудрявой фрали.

– И ты из-за этого… Ты из-за этих пижонов не поехала на свадьбу?

– Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает, жених офицер – сколько там будет крашеных да завитых? А разве я

виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю… Да с чего же у меня будут руки?

– Мария, Мария… у тебя золотые руки… Самые красивые на свете. Ей-богу!

– Красивые… Только с этой красотой в город нельзя показаться.

Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятника.

В семьдесят пять глоток, в семьдесят пять зычных труб затрубили телята от радости.

Когда делаешь по совести

В пятьдесят втором году после окончания ветеринарного института Аркадия Стрельникова направили на Новгородчину старшим ветврачом зоны МТС[190].

Время было трудное – послевоенное лихолетье! – многие колхозы дышали на ладан[191], а у него, ветврача, одна присказка, один разговор: сдавай мясо! Да мясо товарное – говядину.

Однажды Стрельников приехал в колхоз – председатель сидит за столом, по уши зарывшись в бумаги.

– Что за новая игра в бумажки? По мясу всех обскакал? – Стрельников, несмотря на свой возраст, умел страх нагнать – быстро «поставил голос».

– Эти бумажки – смертный приговор колхозу, – вздохнул председатель.

– Смертный приговор?

– Да. Заявления от колхозников. Коров да телок просят. – И тут председатель, как-то беспомощно, беззащитно взглянув на него, взмолился: – Понимаешь, какое дело-то… Не дать коров колхозникам – разбегутся, без коровы на сотки[192] не проживешь, а дать – ты же первый крик поднимешь: почему у тебя молочное стадо сократилось?

– Ты мне Лазаря-то не пой[193]! – начал было Стрельников с привычной фразы (не впервой приходится вправлять мозги) и вдруг прикусил язык, ибо председатель, как бы защищаясь от него, поднял руку, и вместо руки у него оказался пустой рукав.

Стрельников сел и долго сидел, со стороны, сбоку приглядываясь к худому, нездоровому лицу председателя.

– Слушай, – сказал он наконец, – а у колхозников, которые просят коров да телок, есть в личном хозяйстве свиньи да овцы?

– У кого есть, а у кого нету.

– А нельзя так сделать: вместо крупного рогатого скота сдать в госзакуп мелкий?

– Нельзя. По плану: говядина. Разве только ты как старший ветврач бумагу выдашь: колхоз, дескать, сдал то, что надо.

Стрельников выдал бумагу, а через день его вызвали на бюро райкома. Заявление: старший ветврач Стрельников разрешил отдать коров колхозникам, а государству вместо высококачественной говядины всучил какую-то свинину и недозрелую баранину. Одним словом, обман, антигосударственная практика! (Кстати, заявление, как потом выяснилось, накатал один из колхозников, которому не досталось коровы).

Секретарь райкома темной тучей навис над молодым ветврачом: отвечай! И от членов бюро несло крещенским холодом. И Стрельников в первую минуту перепугался насмерть, а потом вдруг вспомнил председателя с обрубком вместо руки и просто озверел:

– Это накормить-то крестьянских детишек молоком антигосударственная практика? Да зачем же нас с вами сюда прислали? Разве не для того, чтобы крестьянские дети молоко ели? Или вам плевать на крестьянских детей, поскольку сами получаете молоко с базы? Нет, то, что я сделал, это не антигосударственная практика, а единственно государственная и народная практика!

Сказал – и не вышел, а вылетел вон.

Члены бюро уставились на первого секретаря: что сделает тот? Сейчас, сию минуту, позвонит куда следует или покамест распорядится, чтобы заготовили приказ о снятии Стрельникова?

А первый сидел-сидел, смотрел-смотрел в стол и вдруг сказал:

– Будем считать, что никакого заседания бюро у нас сегодня не было.

Прошло, наверно, с полмесяца. Многие сослуживцы перестали разговаривать со Стрельниковым – на всякий случай, чтобы не погореть заодно с ним. А сам Стрельников назло всем ходил по передней улице мимо райкома. Смотрите! Не боюсь!

И вот однажды, когда он так среди бела дня рысил мимо райкома, оттуда вдруг вышел секретарь со своим синклитом.

– Стрельников, чего не здороваешься?

– А чтобы не подумали, что подлизываюсь к вам, – с вызовом ответил Стрельников.

– Вот как! – усмехнулся секретарь. – Ну коли ты не хочешь подойти, я сам к тебе подойду, – и на виду у всех через грязную дорогу прошлепал к Стрельникову.

Подошел, протянул руку:

– Правильно выступил. Мы действительно подзабыли, для

чего живем. Я, брат, из беспризорников и знаю, что такое голод. Работай. Но серость свою не показывай. Со старшими надо здороваться.

Вопросы и задания

1. Объясните смысл названия новеллы «Золотые руки».

2. Охарактеризуйте образ Марии.

3. Сопоставьте характеры Стрельникова и секретаря райкома: что в них общего и чем они различаются.

Сокровища книжных полок

Сложный путь прошла в своем развитии русская литература XX века. На этом пути ее подстерегали многие неожиданности. Случалось, что прекрасные писатели, создавшие замечательные произведения, долгие годы оставались в безвестности.

Но время все расставляет на свои места, и мы, оглядываясь назад, видим, как много нового и интересного появилось в русской литературе, какие колоритные характеры создавали писатели, как бережно сохраняли они национальные литературные традиции.

Стремительно ворвался в литературу молодой писатель Михаил Александрович Шолохов, создавший одно из самых великих произведений XX века – роман «Тихий Дон». Со временем вы прочитаете эту книгу, а сейчас предлагаю вам познакомиться с самобытным стилем этого автора, почувствовать широту и раздолье донских степей, попытаться понять характер донских казаков, обратившись к ярким новеллам М. А. Шолохова «Жеребенок» и «Пастух».

Художественный мир М. А. Шолохова на редкость реален и очень точно передает быт и нравы русского казачества. А вот Александр Грин в своем творчестве создает фантастический мир придуманных им стран и морей, где живут смелые люди, мечтающие ярко и красиво прожить свою жизнь. Это мир высоких человеческих чувств и увлекательных приключений. Знакомство с героями А. Грина я посоветовал бы начать с новеллы «Алые паруса». Сам писатель дал ей подзаголовок «Феерия», потому что в ней показан праздник воплощения почти сказочной мечты в прекрасную действительность.

Александр Беляев тоже писал фантастические произведения, но мир, изображенный им, гораздо более суров. В нем ведут непримиримую борьбу подлинные герои, такие, как профессор Сальватор из романа «Человек-амфибия», с людьми, преследующими эгоистические цели, превращающимися в пособников и носителей зла. Часто А. Беляев пишет об ученых, совершивших важное научное открытие. Это не случайно. Автор знает силу науки и предупреждает своих читателей об ответственности, налагаемой на человека научным знанием. Прочитайте роман «Голова профессора Доуэля», и вы увидите, какие серьезные проблемы поднимает писатель в увлекательном рассказе о фантастических событиях.

Одним из самых страшных испытаний в истории нашего народа стала Великая Отечественная война. Немало подвигов

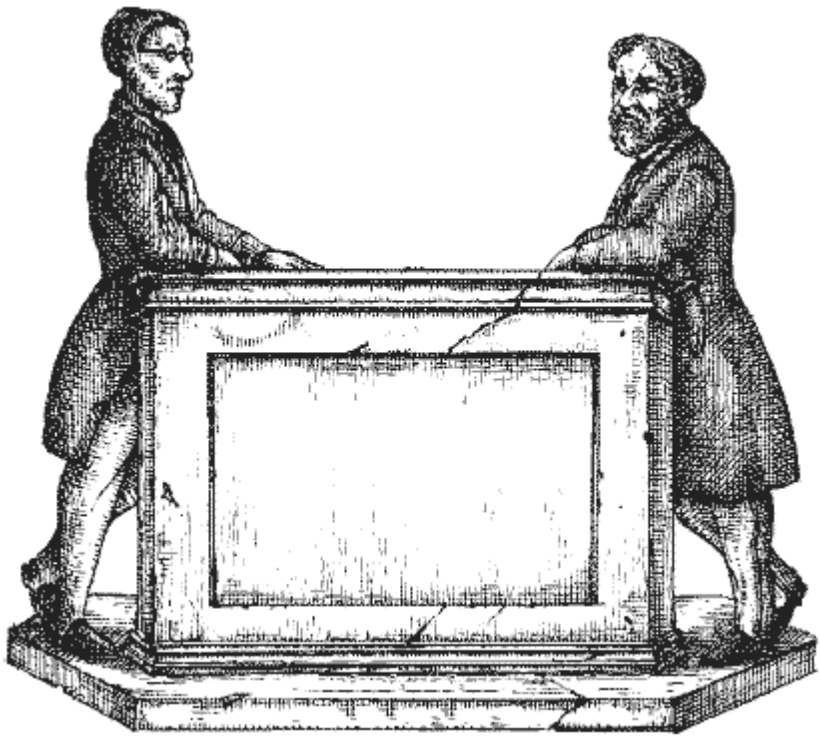
совершили на ее полях русские воины, и немало проблем поставила она перед людьми. Легко ли сохранить человечность и доброту, если вокруг тебя царит смерть, а в твоих руках оружие, данное тебе, чтобы убивать… Прочитайте книгу В. О. Богомолова «Иван», и вы почувствуете, что такое война, тем более что главным героем этой книги является ваш ровесник, простой русский мальчишка, попавший в горнило войны с ее ужасами и людскими страданиями.

Разумеется, не только война или подобные ей катастрофы проверяют силу человеческого характера. Обычная, а иногда и обыденная жизнь каждый день и каждый час проверяет нас на человечность. Окружающий человека мир сложен, но прекрасен. Об этом напоминает своим читателям уже хорошо знакомый вам В. А. Солоухин, чью «Волшебную палочку», право же, стоит прочитать.

Единение человека с окружающим его миром лучше всего чувствуется во взаимоотношениях с «братьями меньшими». «Белый Бим Черное ухо» Г. Н. Троепольского – трогательная история собаки и ее хозяина. Возможно, вы уже смотрели фильм, снятый по этой книге, но это, как вы понимаете, не причина, чтобы не читать литературного произведения. Знакомство с текстом еще раз напоминает о мере ответственности за красоту и богатство подаренной нам жизни на прекрасной планете, имя которой – Земля.

Четвертый урок мастерства

Понятие о лирическом герое литературного произведения



Среди самых разнообразных типов повествователя есть один совершенно особый тип, определяющий специфику восприятия художественного мира литературного произведения. В лирическом произведении, как вам известно, изображаются не события и факты, а чувства и переживания человека. В нем может присутствовать пейзаж, интерьер, персонажи… Много чего может изобразить автор в лирическом произведении, но все это будет сделано с одной-единствен-ной целью: вызвать у читателя вполне конкретное настроение, передать ему какое-нибудь чувство, переживание.

Вот тут-то и подстерегает нас очередная загадка. Чье чувство? Чье переживание передает лирическое произведение? Автора? Не будем спешить с ответом. Вот, например, одна поучительная история. Во второй половине XIX века известный вам поэт А. К. Толстой и его друзья, братья Жемчужниковы, придумали шутливый образ Козьмы Пруткова, от имени которого публиковали пьесы, афоризмы и лирические стихотворения. Одно

из этих стихотворений, заключавшее в себе описание вымышленного писателя, начиналось строками:

Когда в толпе ты встретишь человека,
На коем фрак;
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке,
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, —
Знай, – это я!

Конечно же, этот портрет не имеет отношения ни к одному из создателей образа Козьмы Пруткова, а написавший это стихотворение А. К. Толстой лишь разыгрывает читателя.

Но за этой шуткой скрывается важное напоминание о том, что лирическое произведение тоже имеет своего героя, персонаж, от имени которого ведется повествование. Такой персонаж называется **лирическим героем.**

Лирический герой – это выразитель мгновенного, зафиксированного автором чувства, переживания. С одной стороны, характер лирического героя всегда беднее характера автора, поскольку лирический герой проявляет себя в одной-единственной ситуации, бывает поглощен одной мыслью или одним чувством. Но, с другой стороны, чувство или мысль лирического героя значительно сильнее, объемнее и рельефнее, чем у реального человека, они не затемнены другими мыслями и чувствами, другими переживаниями.

Очень важно понять сходство и различие таких нетождественных, но близких понятий, как **автор, повествователь** и **лирический герой.** Автор– это реальный человек, обладающий собственной судьбой, личной жизнью, какие-то стороны которой чаще всего остаются скрытыми, неизвестными публике. Он – творец произведения, но именно поэтому позволяет себе проявиться в своем творении лишь настолько, насколько сам считает нужным, и в этом ему помогает вымышленный образ повествователя.

Иногда нам кажется, что никакого образа повествователя в произведении нет. Само повествование может быть настолько нейтральным, безразличным к описываемому, что невозможно ничего сказать о повествующем. Но ведь это тоже определенная характеристика. Автор избирает нейтральную, безразличную манеру рассказа, чтобы не мешать читателю самому сделать выводы, прийти к самостоятельным заключениям. При этом сам

автор далеко не нейтрален, ему не безразлично, как поймут его произведение читатели. Следовательно, и здесь между автором и повествователем налицо существенное различие.

Лирический герой– это тоже тип повествователя, но он гораздо ближе автору, чем любой другой тип. Его чувства являются отражением внутреннего мира автора, каких-то фактов его личной биографии. Лирический герой – это тоже определенный характер, выражение чьей-то судьбы. Но лирический монолог этого характера читатель вынужден принимать, не имея возможности проверить истинность и искренность сказанного. Художественный мир, в котором появляется лирический герой, – мир его души, мир, существующий только в восприятии самого лирического героя.

В художественном мире стихотворения А. С. Пушкина «Няне» лирический герой близок самому поэту, он выражает отношение конкретного исторического лица (А. С. Пушкина) к другому известному нам историческому лицу (Арине Родионовне, няне поэта), но читатель может и не знать этих подробностей. В стихотворении есть все, чтобы установить взаимоотношения лирического героя с тем, к кому он обращается. Название стихотворения указывает, о ком идет речь. Здесь же дается и лирический портрет няни, в котором поэта привлекает не столько внешний облик (вы можете увидеть очень важные детали, позволяющие представить, как выглядит няня), сколько душевное, психологическое состояние человека, переживающего разлуку с близким и тревожащимся за его судьбу.

Перечислите, пожалуйста, детали, создающие психологический облик няни.

А вот в стихотворении «Анчар» лирический герой беседует с читателем совершенно иным голосом. Очевидно, что интонации человека, обращающегося к близкому и дорогому ему существу, отличаются от интонаций нейтрального рассказчика, повествующего о древе яда неизвестному читателю. Но дело не только в различии адресатов двух стихотворений. Различна их тематика, различны и чувства, выражаемые ими.

В первом стихотворении поэт делится с читателем светлым и радостным чувством любви и благодарности своей воспитательнице. Во втором – воплощает итог глубоких раздумий над природой человека, но передает не сами раздумья, не ход своих размышлений, а глубокую тревогу, возникшую в результате своих философских исканий. В первом случае А. С. Пушкину хочется поделиться с читателем своим чувством, во втором – добиться того, чтобы читатель сам почувствовал печальный вывод

автора.

Для достижения этой непростой цели А. С. Пушкин избирает тоже непростой путь. Его лирический герой как бы не проявляет своего отношения к рассказываемому, скрывает собственные чувства под маской спокойного и неторопливого рассказчика, повествующего об экзотическом древе яда. «Анчар» напоминает балладу: здесь есть пейзажный зачин, есть конфликт, есть сюжет. Но сознайтесь, разве смерть неведомого раба, покорно отправившегося навстречу собственной гибели, а по дороге захватившего смертной смолы для множества других жертв, вызывает у нас ощущение грозной опасности? Разве возмущение жестокостью восточного князя хочет пробудить у нас поэт?

Все гораздо сложнее. Но чтобы понять глубокий смысл «Анчара», нам надо понять позицию лирического героя, почувствовать, что на самом деле скрывается за эпическим спокойствием повествователя. Я попробую облегчить вам решение этой задачи. Обратите внимание на то, что пять строф стихотворения, предшествующие четырем строфам, в которых развивается конфликт, – это пейзаж, одновременно являющийся портретом (но не человека, а анчара). И лишь когда складывается определенное эмоциональное отношение читателя к повествуемому, когда он попадает под воздействие лирического героя, тот рассказывает о путешествии раба к анчару. Разобравшись во всем этом, вы сможете сформировать основную мысль стихотворения и охарактеризовать лирического героя.

А затем вам предстоит познакомиться с одной из самых лучших русских **элегий.** Ее написал современник и друг А. С. Пушкина, превосходный поэт Евгений Абрамович Баратынский, о котором Пушкин говорил, что тот «оригинален – ибо мыслит», и признавал первенство Баратынского в жанре элегии над всеми другими поэтами своего круга и им самим.

Жанр элегии был очень любим русскими поэтами. Это лирическое произведение в свободной стихотворной форме, содержащее какую-либо жалобу, выражение печали или эмоциональный результат философского раздумья над сложными проблемами жизни.

А. С. Пушкин не случайно восхищался элегиями Е. А. Баратынского. В этом жанре очень важно найти верную интонацию для голоса лирического героя. Как никто другой Е. А. Баратынский обладал этим даром. Вслушайтесь в голос лирического героя «Признания»: в нем слышится не только усталость, но подлинная боль и растерянность от ощущения собственного бессилия. Лирический герой ведет трудный разговор, и читатель становится свидетелем того, как мучительно

ищет он слова для объяснения того, что невозможно объяснить словами: ощущения прошедшей любви. Отсюда особая интонация повествования, отсюда и боль в голосе повествователя.

И в то же время как четко отливаются в афористические формы (посмотрите в словаре значение слова «афоризм») чеканные строки, поражающие глубиной поэтического обобщения: «я клятвы дал, но дал их свыше сил»; «вполне упоевает нас только первая любовь»; «мы не сердца под брачными венцами – мы жребии свои соединим».

Постарайтесь назвать поэтические приемы создания поэтической интонации этой элегии, найти в ней наиболее образные тропы и другие средства поэтической выразительности, дать характеристику лирического героя.

Грузинский поэт Николоз Бараташвили был современником А. С. Пушкина и Е. А. Баратынского. Его стихотворение – превосходная **лирическая миниатюра,** передающая силу любовного чувства лирического героя.

Скажите, как поэт передает силу своей любви и восхищение своей возлюбленной?

А вот в стихотворении известного вам поэта А. С. Хомякова «России» мне хотелось бы в первую очередь обратить ваше внимание на выражение патриотизма. Вряд ли можно считать полноценным человека, лишенного любви к своей Отчизне. Но легко ли выразить эту любовь? Задача поэта – не сообщить о своей любви, а суметь передать читателю силу своего чувства и вызвать у него сходные эмоции. Для достижения этой цели А. С. Хомяков использует в своем стихотворении торжественный стиль, **риторические приемы** (риторические обращения, восклицания и т. п.). Но самое важное заключается в том, что поэт не стремится идеализировать свою родину. Он сам перечисляет многочисленные грехи Отчизны (найдите их в стихотворении и объясните их появление), но очень хорошо понимает, что только Россия способна защитить славянские народы и православную веру от посягательств завоевателя. В этом видит поэт высокую миссию своего государства. Обратите внимание на то, как умело соединяет А. С. Хомяков гражданскую и христианскую символику, отметьте основные поэтические приемы, используемые поэтом.

Обращаясь к России, А. С. Хомяков создает очень любопытный образ лирического героя. *Попробуйте описать основные черты его характера и чувства, которые он испытывает, обращаясь к Отчизне.*

Няне

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь;
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе……

Анчар[194]

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит – один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей,
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой, прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет – лишь вихор черный
На древо смерти набежит

И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.

Вопросы и задания

1. Определите род и жанр данного стихотворения, указав их признаки.

2. Дайте характеристику образа Анчара и определите его соотношение с образами Князя и Раба.

3. Какие художественные средства использует А. С. Пушкин для создания образа Анчара?

4. Объясните смысл названия стихотворения.

5. Определите основной конфликт стихотворения и способы его воплощения.

6. Какую художественную функцию выполняет пейзаж в стихотворении?

7. Объясните смысл понятия «яд» в стихотворении.

8. Охарактеризуйте «голос» и позицию повествователя в стихотворении.

9. Укажите систему рифмовки и дайте характеристику рифм в стихотворении, объясните, как ритм помогает проявлению авторской позиции.

Евгении Абрамович Баратынский

Признание

Притворной нежности не требуй от меня,
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты пра́ва, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежние мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы дал, но дал их выше сил.
Я не пленен красавицей другою,
Мечты ревнивые от сердца удали;
Но годы долгие в разлуке протекли,
Но в бурях жизненных развлекся я душою.
Уж ты жила неверной тенью в ней;
Уже к тебе взывал я редко, принужденно,
И пламень мой, слабея постепенно,
Собою сам погас в душе моей.
Верь, жалок я один. Душа любви желает,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполне упоевает
Нас только первая любовь.
Грущу я; но и грусть минует, знаменуя
Судьбины полную победу надо мной;
Кто знает? мнением сольюся я с толпой;
Подругу, без любви – кто знает? – изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам
И в храме стану рядом с нею,
Невинной, преданной, быть может, лучшим снам,
И назову ее моею;
И весть к тебе придет, но не завидуй нам:
Обмена тайных дум не будет между нами,
Душевным прихотям мы воли не дадим,
Мы не сердца под брачными венцами —
Мы жребии свои соединим.
Прощай! Мы долго шли дорогою одною;

Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте ритмический рисунок стихотворения.

2. Определите жанр этого стихотворения и укажите его признаки.

3. Дайте характеристику лирического героя произведения.

4. Определите соотношение лирической эмоциональности и медитации в стихотворении.

5. Какие риторические фигуры использует Е. А. Баратынский в данном стихотворении и с какой целью?

6. Какой смысл вкладывает автор в название стихотворения?

7. Укажите эпитеты, используемые в данном стихотворении.

8. Дайте характеристику адресата стихотворения, укажите, какими художественными средствами создается его образ.

9. Как и с какой целью использует автор в этом стихотворении афоризмы?

Николоз Бараташвили

«Ты самое большое чудо Божье…»

Ты самое большое чудо Божье.
Так не губи меня красой своей.
Родителям я в мире всех дороже —
У нас в семье нет больше сыновей.

Я человек простой и немудрящий.
Подруга – бурка мне, а брат – кинжал.
Но будь со мною ты, в дремучей чаще
Мне б целый мир с тобой принадлежал.

Алексей Степанович Хомяков

России

Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная,
За братьев! Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная,
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.

Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело.
Своих рабов он судит строго,
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени, мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной

И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом – то Божий меч!

В мастерской художника слова
Поэтическое мастерство

«Крестьянин пашет, каменщик строит, священник молится и судит судья. Что же делает поэт?» – так начинает свою статью «Жизнь стиха» Н. С. Гумилев, уже известный вам поэт начала XX века. В этой статье он попытался приоткрыть «тайны» поэтического творчества, но, кроме того, объяснить, почему поэзия так же необходима человеку, как строительство, земледелие и множество других полезных ремесел.

«Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям еще не окрепшей новой жизни. Все действует на ход ее развития – и косой луч луны, и внезапно услышанная мелодия, и прочитанная книга, и запах цветка. Все определяет ее будущую судьбу. Древние уважали молчащего поэта, как уважают женщину, готовящуюся стать матерью», – пишет Н. С. Гумилев. Отметим, что поэт настойчиво проводит сравнение между актом поэтического творчества и законами существования живых организмов. Вас, я думаю, это не удивляет, поскольку в результате творчества создается именно живой и цельный художественный мир. Но, создавая собственный поэтический мир, поэт тем самым приближается и к реальному миру.

Здесь нам следует вспомнить высказывание В. Я. Брюсова – учителя Н. С. Гумилева. В статье «Синтетика поэзии» он отметил: «Искусство, в частности поэзия, есть акт познания; таким образом, конечная цель искусства та же, как науки, – познание». Это высказывание прекрасно объясняет, почему поэзия необходима людям: никому ведь не придет в голову сомневаться в необходимости науки. Но В. Я. Брюсов поясняет и удивительный парадокс: создавая искусственный мир, поэт познает и объясняет мир реальный.

Вернемся, однако, к статье Н. С. Гумилева, который задается вопросом: каким требованиям должно удовлетворять поэтическое произведение? Вопрос далеко не праздный, поскольку на протяжении веков люди спорили, что важнее для поэзии: мысль или форма, полезный урок или развлечение, простота или сложность, музыкальность или естественность… И много, много других требований выдвигалось поэтам.

Чем же должно обладать поэтическое произведение? «Я ответил бы коротко: всем, – гордо заявляет Н. С. Гумилев и объясняет: – В самом деле, оно должно иметь: мысль и чувство – без первой самое лирическое стихотворение будет мертво, а без второго даже эпическая баллада покажется скучной выдумкой (Пушкин в своей лирике и Шиллер в своих балладах знали это); мягкость очертаний юного тела, где ничего не выделяется, ничто не пропадает, и четкость статуи, освещенной солнцем; простоту– для нее одной открыто будущее, и – утонченность как живое признание преемственности от всех радостей и печалей прошлых веков; и еще превыше всего – стиль и жест. В стиле Бог показывает из своего творения, поэт дает самого себя, но тайного, неизвестного ему самому, позволяет догадаться о цвете своих глаз, о форме своих рук…Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу его героя, перенимая его мимику и телодвижения, и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изреченная становится уже не ложью, а правдой».

Здесь мне хочется вновь обратиться к В. Я. Брюсову, который уточняет мысль Н. С. Гумилева о значении слов в стихотворениях: «Поэт, по свойству своего искусства, должен заставить читателя воспринимать свои слова не как понятия, а как что-то непосредственно действующее на чувство. Поэт должен вернуть слову его первоначальное эмоциональное значение. Отсюда – стремление поэтов искать новых сочетаний слов, новых образов, новых метафор (вообще тропов)».

Н. С. Гумилев, утверждая, что каждое стихотворение включает в себя целый мир, требует, чтобы этот мир был совершенен и целен: «Чтобы быть достойным своего имени, стихотворение, обладающее перечисленными качествами, должно сохранить с ними полную гармонию и, что всегда важнее, быть вызванным к жизни не «пленной мысли раздражением», а внутренней необходимостью, которая дает ему душу живую – темперамент. Кроме того, оно должно быть безукоризненно даже до неправильности. Потому что индивидуальность стихотворению придают только сознательные отступления от общепринятого правила, причем они любят рядиться в бессознательные».

С этим согласен и В. Я. Брюсов: «Сила и неувядающее очарование стихов Пушкина и стихов всех вообще великих поэтов (особенно античных) в том и состоит, что в их произведениях достигнута полная гармония между его общим замыслом, стилем

и отдельными образами (добавим еще – и звуковым построением стихотворения)».

Конечно же, сразу тайну поэтического мастерства не приоткроешь. Как и живой организм, художественный мир слишком хрупок и сложен, но думаю, вы уже начали чувствовать своеобразие поэтического мироощущения. А закончить мне хочется еще одной выдержкой из статьи Н. С. Гумилева: «Прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни, они то учат, то зовут, то благословляют; среди них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают».

Сокровища книжных полок

Удивительно богата русская литература, прекрасна ее поэзия. Вам уже достаточно хорошо известны лирические произведения А. С. Пушкина, однако уже при жизни поэта заговорили о блестящей плеяде его современников, называемой «поэтами пушкинского круга». Среди них, наряду с известным вам Е. А. Баратынским, А. А. Дельвиг, П. А. Вяземский, И. И. Козлов, Н. М. Языков, поэты-декабристы К. Ф. Рылеев и А. И. Одоевский. Очень рекомендую вам поближе познакомиться с их лирикой.

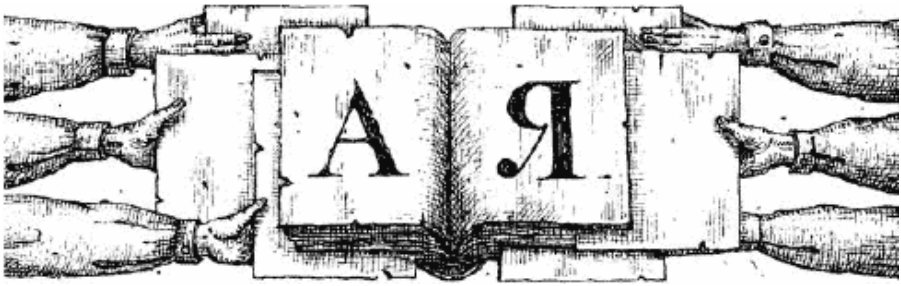
В середине века, наряду с Ф. И. Тютчевым и Н. А. Некрасовым, проникновенные стихотворения создали А. А. Фет, А. А. Григорьев, А. Н. Майков, А. К. Толстой и др. Их поэзия глубока и разнообразна. Она способна удовлетворить запросы самого изысканного ценителя лирики.

Лирику рубежа XIX и XX веков давно уже называют «поэзией серебряного века». В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, С. А. Есенин, И. Ф. Анненский, И. Северянин и многие другие соединили глубину лирического переживания с редкостным поэтическим мастерством, создав подлинные шедевры мировой поэзии.

Глубока и разнообразна лирика XX века. Имена В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой, Н. А. Заболоцкого, А. А. Тарковского, А. Т. Твардовского известны во всем мире. В их творчестве отразились боль и радость всего народа, вынесшего и кровавые войны, и надругательство над православной верой, и многие другие испытания.

Читайте стихи русских поэтов, и вы почувствуете гордость за свой народ и получите удивительное эстетическое наслаждение.

Словарь литературоведческих терминов



А́втор – реальная личность, писатель, создавший одно или ряд литературных произведений, в которых может отражаться, а может и не отражаться его собственная реальная судьба; это понятие не следует путать с образом автора.

Антагони́ст – действующее лицо литературного произведения, противопоставленное протагонисту, главному герою, нередко вступающее с ним в борьбу, чья деятельность вызывает явное неодобрение автора; активный отрицательный персонаж.

Антите́за – художественное противопоставление характеров в литературном произведении, обстоятельств, понятий, композиционных элементов и пр., создающее эффект резкого контраста.

Афори́зм – краткое изречение, содержащее в себе законченную мысль философского или нравоучительного содержания.

Верши́нная компози́ция – вид композиции, имеющий целью усилить напряжение повествования литературного произведения, для этого в повествовании опускается развитие действия, а вслед за завязкой сразу или почти сразу следует кульминация; часто в вершинной композиции объединяется ряд конфликтов.

Вырази́тельные сре́дства – языковые средства, используемые в литературном произведении, для того, чтобы вызвать у читателя какое-то определенное чувство (жалость, возмущение, восхищение и т. п.).

Геро́й (литерату́рный) – главный персонаж, или главное действующее лицо литературного произведения, наделенный положительными качествами.

Говоря́щая фами́лия – один из литературных приемов, заключающийся в характеристике персонажа с помощью имени или фамилии, смысл которых указывает на определенные личные качества персонажа.

Дета́ль (худо́жественная) – выразительная подробность, характерная черта какого-то предмета, части быта, пейзажа или интерьера, несущая повышенную эмоциональную и содержательную нагрузку; характеризует не только весь предмет, частью которого она является, но весь предметный мир, определяет отношение читателя к происходящему в литературном произведении.

Диале́ктика души́ – изображение в литературе человеческого характера как проявления внутренних психологических противоречий между желаемым и возможным, материальными потребностями и духовными принципами, причем сами противоречия оказываются основой роста, развития характера.

За́данность хара́ктера – особенность изображения человека в литературе, вплоть до XIX века, заключавшаяся в том, что результат человеческого развития и его деятельности заранее предопределен личными качествами, воспитанием и окружением персонажа; при этом характер показывается как статический (неизменный), или же его эволюция (изменение) должна привести к заранее известному результату.

Изобрази́тельные сре́дства – языковые средства (особенности, возможности), используемые в литературном произведении для того, чтобы вызвать перед глазами читателя зримый образ описываемого человека, предмета или происходящих событий.

Интерье́р – часть предметного мира литературного произведения, описание внутреннего убранства дома или другого помещения, несущее эмоциональную и содержательную оценку с целью характеристики обитателей этого жилища либо для объяснения событий, которые должны произойти в данном помещении.

Иро́ния – вид комического, скрытая насмешка.

Кла́ссика – литературные произведения, идейная и художественная значимость которых сохраняется на протяжении длительного времени; произведения, оказывающие сильное эстетическое воздействие на каждое новое поколение читателей.

Колли́зия – столкновение, борьба действующих сил, вовлеченных в конфликт, лежащий в основе развития литературного произведения.

Колори́т – достижение с помощью художественных средств исторической, национальной, бытовой и прочей достоверности при создании художественного мира литературного произведения; существуют понятия: «исторический колорит», «местный колорит» и др.

Комедия – драматический жанр, в основе которого лежит **комический конфликт,** то есть противоречие между внешним проявлением и подлинным содержанием изображаемого.

Коми́ческое – вызывающее смех несоответствие между видимостью (внешним проявлением) и сущностью (подлинным содержанием) изображаемого.

Композицио́нный центр – художественный образ, объединяющий в единое повествование внешне самостоятельные, внутренне завершенные части общего художественного мира (эпизоды, новеллы, фрагменты и пр.); роль композиционного центра могут выполнять общие повествователи, второстепенные персонажи, предметы вещного мира, символы, географические центры и пр.

Лири́ческий геро́й – условный повествователь в лирических и лиро-эпических произведениях, чье отношение к описываемому стремится передать автор.

«Ма́ссовая культу́ра» – совокупность произведений невысокого качества, по преимуществу развлекательных, тиражируемых с целью получения максимальных прибылей и идеологической обработки масс; имитируя подлинные произведения искусства, произведения «массовой культуры» часто дискредитируют их.

Миниатю́ра (лири́ческая) – небольшой лирический жанр, стихотворение из 2–8 стихов, заключающее законченную мысль или передающее одно какое-то чувство, ощущение.

Нова́торство – обогащение литературы новыми художественными открытиями, органично (естественно) дополняющими национальную традицию данной литературы и оказывающими влияние на дальнейшие пути развития литературного творчества.

Норматѝвность – строгое соблюдение правил художественного творчества, зафиксированных в специальных трактатах – нормативных поэтиках.

О́браз а́втора – условный повествователь, которому писатель «приписывает», передает авторство своего произведения и о котором в самом произведении могут содержаться какие-то сведения, противопоставляющие его реальному автору, чтобы установить их нетождественность; как правило, активно вмешивается в повествование, комментируя его и вступая в прямой контакт (разговор) с читателем.

Параллели́зм – расположение рядом сходных элементов речи (лексический), синтаксических конструкций (синтаксический), тем (тематический) или коллизий (композиционный) для создания единого поэтического образа

или поэтического утверждения.

Паро́дия – высмеивание какого-либо писателя или произведения с помощью доведения до абсурда, заострения, подчеркивания характерных свойств его языка, художественных приемов, писательской манеры.

Пейза́ж – художественное описание незамкнутого пространства (природы, города и т. п.), часть предметного мира литературного произведения; помогает понять действия персонажей, передает их душевное состояние, создает эмоциональную атмосферу произведения (или эпизода) или дается с целью контрастного противопоставления деятельности людей.

Персона́ж – любое действующее лицо (или аллегорическая фигура) литературного произведения без указания на его значимость в повествовании и без оценки его личных качеств.

Повествова́тель – лицо, от которого ведется повествование в литературном произведении; характеризуется наличием собственного отношения к повествуемому и стилистическими особенностями повествовательной манеры; может выступать как двойник автора, как нейтральный рассказчик, скрытый от читателя, как действующее лицо повествования и пр.

Портре́т – изображение в литературном произведении внешности персонажа как одно из средств его характеристики.

Поэ́тика – учение о поэтических средствах и приемах создания литературных произведений.

Предме́тный мир – совокупность описаний материальных частей художественного мира литературного произведения: предметов, пейзажей, интерьеров, костюмов и пр.; создается для понимания и создания условий деятельности литературных персонажей, а также для характеристики художественного мира произведения в целом или его части.

Протагони́ст – главное действующее лицо литературного произведения, персонаж, чья судьба в первую очередь интересует автора, кто в наибольшей степени отвечает представлениям автора о том, как должно себя вести человеку в той или иной ситуации.

Прототи́п – реальный человек, чья внешность, черты характера или судьба нашли отражение в каком-либо литературном произведении.

Псевдони́м – условная фамилия, имя, инициалы или символ, под которым писатель публикует свое произведение, скрывая собственное реальное имя.

Психологи́зм – совокупность средств, используемых для изображения внутреннего мира персонажа: его психологии,

душевного состояния, переживаний и пр.

Резонёр – персонаж, выражающий авторскую точку зрения на изображаемые события литературного произведения и действующих лиц; может принимать участие в развитии сюжета, но нередко оказывается сторонним наблюдателем, чья задача ограничивается комментированием происходящего.

Ретарда́ция – сюжетно-композиционный прием, применяемый в эпических жанрах литературного произведения для задержки развития действия, что позволяет оттянуть наступление кульминации или развязки; заключается во введении внесюжетных элементов (лирические отступления и т. п.), вводных эпизодов, описаний (пейзажи, интерьер, портрет и пр.), композиционных повторов (однородные эпизоды, описания, объяснения и т. п.).

Ретроспекти́вная компози́ция – вид композиции, основанный на перенесении завязки в середину повествования, когда читателю уже известна кульминация, а иногда и развязка конфликта.

Речева́я характери́стика – характеристика персонажа литературного произведения через его речь, в которой проявляются слова и обороты, указывающие на род деятельности, социальную принадлежность, особенности воспитания, образования и другие качества персонажа.

Рито́рические приёмы – введение в повествование стилистических оборотов, заимствованных из ораторского искусства, для усиления поэтической выразительности: риторические вопросы, восклицания, обращения и т. п.

Рома́н – эпический жанр, стремящийся с наибольшей полнотой изобразить все разнообразные связи человека с окружающей его действительностью и всю сложность мира и человеческого характера.

Сати́ра – вид комического, безжалостная насмешка, высмеивающая недостаток или порок, а также их носителей.

Си́мвол – один из тропов, скрытое сравнение, при котором сравниваемый предмет или явление не называется, а подразумевается с известной долей многозначности выбора, зависящего от восприятия читателя.

Систе́ма хара́ктеров – взаимоотношения и взаимосвязь персонажей литературного произведения, взаимодействие которых определяет развитие сюжета и разрешение основного конфликта.

Сказ – способ организации повествования, ориентированный на устную, часто простонародную речь.

Стилиза́ция – литературный прием, состоящий в том, что

автор, создавая свое произведение, подражает стилю, манере и художественным средствам какого-нибудь другого известного произведения или ряда произведений.

Стиль (литерату́рный) – совокупность поэтических приемов и средств, свойственных какому-то одному произведению (стиль произведения), творчеству писателя (стиль автора), эпохе (стиль эпохи) и пр. Кроме того, есть лингвистическое понятие стиля речи: книжный стиль, разговорный стиль, ораторский стиль и т. п.

Тип (литерату́рный) – персонаж литературного произведения, в котором общечеловеческие или присущие целой группе людей черты явно преобладают над чертами личными, индивидуальными, свойственными данному конкретному лицу.

Тради́ция (литерату́рная) – литературный опыт в способах создания художественного мира произведений многих поколений авторов, осваивавших искусство словесной выразительности; традиция обеспечивает непрерывность и преемственность развития литературы, связь художественных произведений разных эпох.

Тракта́т – жанр научной литературы, законченное сочинение на научную тему, заключающее в себе постановку проблемы, систему доказательств и вывод.

Фанта́зия – способность человека на основе своего опыта и знаний создавать образы не существующих в реальной действительности событий, людей, представителей других цивилизаций и пр.

Хара́ктер (литерату́рный) – сочетание в персонаже литературного произведения личных, психологических черт с общечеловеческими, характерными для группы людей, типическими качествами; такое сочетание формирует неповторимую индивидуальность персонажа, сложность его внутреннего душевного мира.

Шеде́вр – произведение, по своим художественным достоинствам превосходящее другие произведения подобного рода.

Эле́гия – лирический жанр, содержащий в свободной стихотворной форме какую-либо жалобу, выражение печали или эмоциональный результат философского раздумья над сложными проблемами жизни.

Эсте́тика – наука о прекрасном.

Юмор – вид комического, насмешка, не обижающая и не задевающая достоинства человека или группы людей.

notes

Примечания

1

Фри́зовая – голландская.

2

Еруслáн Лáзаревич, Фомá и Ерёма – популярные персонажи русских лубочных картин.

3

Ландша́фтик – пейзаж.

4

Бе́ленькая – бумажная денежная купюра (ассигнация) достоинством 25 рублей была белого цвета.

5

Кварта́льный (надзиратель) – полицейский чин.

6

Рафаэ́ль Са́нти (1483–1520) – великий итальянский живописец.

7

Гвид (Гви́до Ре́ни) (1575–1642) – итальянский живописец.

8

Тициа́н (1476–1576) – великий венецианский живописец.

9

Леона́рдо да Ви́нчи (1452–1519) – великий итальянский живописец, здесь имеется в виду его картина «Джоконда».

10

Вазáри Джóрджо (1511–1574) – итальянский архитектор, теоретик и историк искусства.

11

Фантóм – призрак, привидение.

12

Васи́льевский о́стров, Петербу́ргская сторона́, Коло́мна – районы Санкт-Петербурга, расположенные на его окраинах.

13

Громобо́й – персонаж поэмы В. А. Жуковского «Семь спящих дев», заключивший договор с дьяволом.

14

Ванди́к – имеется в виду великий фламандский живописец Анто́нис Ван-Де́йк (1599–1641).

15

Это очаровательно, Лиза, Лиза, подойди сюда (франц.).

16

Те́ньер (Те́нирс) Дави́д (1610–1690) – фламандский живописец.

17

Какая красивая фигура! (франц.).

18

Превосходно, превосходно! (франц.)

19

Психе́я – в древнегреческой мифологии: богиня души, жена бога любви Эрота.

20

Какая прекрасная мысль! (франц.)

21

Корре́дж (Корре́джо) (1489–1534) – великий итальянский живописец.

22

Марс – в древнеримской мифологии: бог войны.

23

Ба́йрон Джордж Но́эл Го́рдон (1788–1824) – великий английский поэт-романтик, чьи поэмы были очень популярны в России, обладал мужественной и привлекательной внешностью.

24

Кори́нна – героиня романа французской писательницы-романтика Жермены де Сталь «Коринна, или Италия».

25

Унди́на – героиня популярной сказки В. А. Жуковского.

26

Аспа́зия – жена греческого правителя Афин Перикла (V в. дон. э.), отличалась умом, красотой и образованностью.

27

Микель-А́нжел (Микела́нджело) Буонарро́ти (1475–1564) – великий итальянский живописец, скульптор и архитектор.

28

Есть что-то необычное во всей его фигуре! (франц.)

29

Василиск – фантастическое животное, способное убивать взглядом.

30

…демон, которого идеально изобразил Пушкин – имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «Демон» (1823).

31

Меценáт – богатый покровитель художников и поэтов.

32

Кенке́т – масляная лампа.

33

Капельди́нер – служащий театра, проверяющий у посетителей билеты.

34

Францу́зская револю́ция – имеется в виду Великая французская революция 1789–1794 гг.

35

Дант (Да́нте) Алигье́ри (1265–1321) – великий итальянский поэт и политический деятель, был изгнан из родного города Флоренции по решению органа демократического управления – Совета приоров.

36

Грандисо́н – персонаж романа английского писателя С. Ричардсона «История сэра Чарльза Грандисона», идеальный мужчина-дворянин.

37

Жанровая картина (франц.).

38

Ве́нский сове́т – имеется в виду Венский конгресс 1814–1815 гг., завершивший войны с Наполеоном и установивший новые границы в Европе.

39

Пла́тов Матвей Иванович (1751–1818) – граф, атаман донских казаков, генерал, герой Отечественной войны 1812 г., сопровождавший императора Александра I во время поездки в Лондон.

40

Цейга́уз – военный вещевой склад.

41

Шаба́ш – здесь: конец.

42

Кунстка́мера – музей, собрание редкостей.

43

Грабова́тый – здесь: горбатый.

44

Бу́рка – казацкий длинный плащ-накидка без рукавов из войлока и козьей шерсти.

45

Скла́день – складная икона, написанная на двух или трех складывающихся створках.

Двухсе́стная – здесь: двухместная.

Бю́стры – здесь: люстры.

Валдахи́н – здесь: балдахин.

49

Аболо́н полведе́рский – здесь: Аполлон Бельведерский, копия античной статуи, хранящейся в Риме.

50

Буреме́тр – здесь: барометр.

51

Мерблю́зьи – здесь: верблюжьи.

Мантóн – здесь: накидка.

53

Непромока́бли – здесь: непромокаемые плащи.

Ажида́ция – здесь: ожидание, выдержка.

55

Двенадеся́ть язы́к прогна́ли – двенадцать народов, входивших в армию Наполеона.

56

Безрассу́док – соединение слов «безрассудство» и «предрассудок».

Мортиме́рово – по имени Г. Мортимера, английского оружейника конца XVIII в.

Пистóля – пистолет.

59

Канделáбрия – здесь: Калабрия – полуостров в Италии.

Благоро́дным бы сде́лал – пожаловал дворянство.

61

Са́хар мо́лво – здесь: сахар, изготовленный на петербургском заводе Я. Мольво.

Нимфозо́рия – здесь: инфузория (микробы).

63

Керами́да – здесь: пирамида.

Да́нсе – танец (искажен, франц.).

Мелкоско́п – здесь: микроскоп.

Вероя́ция – здесь: вариация.

Каври́ль – здесь: кадриль.

68

Поп Федо́т (Алексей Федотов-Чеховский) – священник таганрогской соборной церкви, у которого перед смертью исповедовался Александр I.

69

Корешко́вая – выточенная из корня.

Укуше́тка – здесь: кушетка.

71

Жу́ков таба́к – табак с петербургской фабрики В. Жукова.

72

При восхóде – при восхождении на престол, имеется в виду восстание на Сенатской площади в декабре 1825 г.

73

Два девяно́сто – сто восемьдесят.

74

Афо́н – полуостров в Греции, где расположено много православных храмов.

«Камнесе́ченная» – высеченная из камня.

Святи́тель Мир-Лики́йских – Николай Чудотворец.

Свистово́й – здесь: вестовой.

По́тная спира́ль – здесь: спертый воздух.

Пу́бель – здесь: пудель.

Тугаме́нт – здесь: документ.

81

Замеча́тельный – здесь: все замечающий.

82

Казама́т – здесь: каземат – одиночная камера в крепости.

83

Озя́мчик – крестьянская верхняя одежда.

84

Граф Кисе́львроде – граф К. Нессельро́де, министр иностранных дел.

85

«Ай люли – се тре жули» – «Это очень мило» (искажен, франц.).

Сту́динг – здесь: пудинг.

87

Публице́йские – соединение слов «публичные» и «полицейские».

88

Клеветóн – здесь: фельетон.

89

Камра́д – товарищ (искажен, англ.).

Симфо́н – здесь: сифон.

91

Ерфи́кс – отрезвляющее средство.

92

Боготво́рные ико́ны и гроботочи́вые гла́вы – здесь: чудотворные иконы и мирроточивые главы.

93

Грандеву́ – здесь: рандеву – свидание (искажен, франц.).

Ноги́вки – здесь: носки.

Сапажу́ – род обезьян с густым мехом.

Плис – ткань, похожая на бархат.

Тальма́ – накидка без рукавов.

Щигле́ты – здесь: штиблеты.

С бойло́м – здесь: побоями.

100

Долби́ца – соединение слов долбить и таблица.

101

Твердизе́мное – здесь: Средиземное.

Трепети́р – здесь: репетир – звон у часов.

103

Презе́нт – здесь: брезент.

Бу́фта – здесь: бухта.

105

Водопле́ние – здесь: потопление.

Полшки́пер – здесь: подшкипер – помощник капитана.

107

Паре́й – здесь: пари, спор.

108

Динами́нде – здесь: Дюнамю́нде – порт в устье Западной Двины.

109

Му́рин – негр.

Пара́т – здесь: парадное крыльцо.

Подле́карь – фельдшер.

Обу́хвинская – здесь: Обуховская.

113

С ры́сью – здесь: с рисом.

Клейнми́хель А. П. – министр путей сообщения и публичных зданий.

115

Пупле́кция – здесь: апоплексия (паралич).

116

Ско́белев И. Н. – генерал, комендант Петропавловской крепости.

117

Марты́н-Со́льский (Соко́льский Мартын Дмитриевич) – врач гвардейских полков.

Чернышóв А. И. – военный министр.

119

Плези́рная – здесь: клистирная.

120

Ока́зия – случайность.

121

Шко́ла вое́нных кантони́стов – начальная школа для солдатских детей.

122

Каллигра́фия – чистописание.

123

«Моско́вские ве́домости» – газета, издававшаяся журналистом и публицистом М. Н. Катковым.

124

«Шексни́нска сте́рлядь золота́я» – цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Приглашение к обеду».

125

Ча́стный при́став – начальник полицейского участка.

Фестива́ль – здесь: торжественный обед.

127

Вавило́нское столпотворе́ние – намек на эпизод в Библии, где рассказывается о строительстве гигантской башни (столпа) в Вавилоне, которая должна была достигнуть неба; в наказание за такую дерзость Бог «смешал» языки строителей, и они перестали понимать друг друга.

128

Четвёртый класс – по Табели о рангах: действительный статский советник.

129

Нико́лин день – 6(19) декабря, день св. Николая Угодника.

130

Вершо́к – старинная мера длины, 4,4 см.

131

Арши́н – старинная мера длины, 0,71 м.

Ри́жный сарай – сарай для сушки снопов.

133

Пе́шня – железный лом.

Подма́щивать – мостить, прокладывать.

135

Алексе́й Бо́жий челове́к – 17 (30) марта, день св. Алексея.

Ассигна́ции – бумажные деньги.

137

Мали́к – след на снегу.

138

Гумно́ – сарай для сжатого хлеба.

139

Цеп – орудие для обмолота хлеба.

140

Ови́н – строение для сушки снопов перед молотьбой.

141

Грош – две копейки.

Четвертачо́к – 25 копеек.

143

Дворо́вый – крепостной крестьянин, служащий при дворе помещика.

144

Отпу́щенный – освобожденный помещиком от крепостной зависимости крестьянин.

145

Иноходец – лошадь, которая бежит особым бегом – иноходью: сначала выносит обе правые, затем обе левые ноги.

146

Дагерроти́пный – от дагерроти́п: старинная фотография, выполненная на металлической пластинке.

147

Камерге́р – почетное придворное звание.

Пю́совый (устар.) – темно-коричневый.

149

Фероньéрка – женское украшение с драгоценными камнями, надеваемое на лоб.

150

Елизаве́та Петро́вна – русская царица (правила с 1741 г.), дочь Петра I.

151

Хо́ры – открытая галерея, балкон в верхней части зала.

152

Атла́сный – сделанный из атласа – шелковой гладкой блестящей ткани.

153

Ка́чество. – Двое молодых людей задумывали названия предметов или разные качества характера (гордость, нежность и т. д.), каждый свое. Девушка должна была отгадать задуманное. Тот, качество которого было угадано, становился в пару. Точно так же избирали себе дам кавалеры.

Еще (франц.).

155

Эполе́ты – парадные офицерские погоны.

156

Моя милая (франц.).

157

Как у Николая I (франц.).

Портупе́я – ременная перевязь, перекинутая через плечо, – для ношения холодного оружия.

159

Штри́пки – тесемки, пришитые снизу к брюкам и охватывающие ступни.

160

Опóйковые сапоги – сапоги из опóйка – тонкой кожи.

161

Деви́ческий институ́т – институт благородных девиц, закрытое учебно-воспитательное заведение для девиц из дворянского сословия.

162

Ломовы́е – ломовые извозчики (занимавшиеся перевозкой тяжестей).

163

Шпицру́тены (нем.) – прутья или палки, которыми били наказываемых.

Косу́шка – 125 мл.

165

Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Детство» (1844). У Некрасова: «…И в рот мне водку гадкую/ По капле наливал…»

166

Хамелео́н – пресмыкающееся из рода ящериц, отличающееся способностью менять окраску в зависимости от изменения среды и внешних раздражителей.

167

Надзира́тель – полицейский чин в царской России, отвечающий за порядок на определенном участке.

168

Городово́й – низший чин в городской полиции царской России.

169

Конфиско́ванный – изъятый, отобранный вследствие нарушения каких-либо законов или правил (торговли, содержания, владения и пр.).

170

Кабáк – питейное заведение.

171

Борза́я – порода охотничьих собак.

Мирово́й – мировой судья; судья низшей судебной инстанции в царской России.

173

Жанда́рм – здесь: полицейский.

Лега́вая – порода охотничьих собак.

175

История болезни (лат.).

Вольноопределя́ющий – доброволец.

177

«Фа́уст» – имеется в виду опера французского композитора Ш. Гуно «Фауст».

178

Камелёк – небольшой очаг для обогрева помещения.

179

Мемфи́с – название столицы египетского царства.

Ора́ло – соха.

181

Фриз – плита над колоннадой, украшенная декоративными узорами.

182

Сфи́нксы – имеются в виду гигантские египетские статуи львов с человеческими головами.

183

Феллáх – египетский крестьянин, землепашец.

Известня́к – удобный для обработки светлый камень.

185

Облига́ции – ценные бумаги, выдаваемые людям вместо денег (или продаваемые) как подтверждение займа, сделанного государством; по облигациям проводились тиражи выигрышей в качестве своеобразной компенсации.

Чи́рки – башмаки.

187

Гематоге́н – препарат крови в смеси с каким-нибудь веществом; использовался для лечения малокровия.

Фра́ля – здесь: краля.

189

Наробúлась – наработалась.

МТС – машинно-тракторная станция.

Дыша́ли на ла́дан – находились при смерти.

192

Со́тки – отведенный колхознику в личное пользование участок земли.

193

Ла́заря-то не пой – не заговаривай зубы, не жалуйся.

Древо яда. (Примечание автора.)